

**ДАВИД МАРКИШ**



**СТАТЬ ЛЮТОВЫМ**

*ФТМ*

Давид Маркиш  
**Стать Лютовым**

«ФТМ»

1999

## **Маркиш Д. П.**

Стать Лютовым / Д. П. Маркиш — «ФТМ», 1999

ISBN 978-5-4467-1056-0

Русскоязычный израильский прозаик Давид Маркиш – автор двух десятков книг, в которых неразрывно сплетаются русская и еврейская история и культура. Его роман «Стать Лютовым» – не беллетризованная биография, а, по определению самого автора, «вольные фантазии» на тему жизни и смерти Исаака Бабеля, который выведен в романе под именем Иуды Гросмана. В разгар Гражданской войны начинающий писатель Гросман становится фронтовым репортером в Первой конной армии Буденного. Вступая в борьбу за новый мир, он берет и новое имя – Кирилл Лютов. Но, даже став конармейцем Лютовым, он остается писателем Гросманом, чье призвание – не воевать, а смотреть, запоминать и записывать, ничего не упуская. Литературный дар принесет ему славу, но как обрести покой, если душа разделена надвое?

ISBN 978-5-4467-1056-0

© Маркиш Д. П., 1999

© ФТМ, 1999

# Содержание

Ворота	6
Часть 1	8
Конец ознакомительного фрагмента.	35

**Давид Маркиш**  
**Стать Лютовым**

*Вольные фантазии из жизни писателя*  
*Исаака Эммануиловича Бабеля*

© Текст. Д. П. Маркиш, 2021

© Агентство ФТМ, Лтд., 2021



*То был Черный ангел.*

## Ворота

### *Из сна Иуды Гросмана, мальчика*

Иуда, мальчик, видел себя во сне отчетливо, как в серебряном зеркале – том, которое висело на стене в комнате родителей: в тяжелой темной раме, большом и отчасти страшном. Иуда в красных штанах с золотыми лампасами, верхом на коне, масть которого менялась в зависимости от солнечного освещения, ехал посреди улицы мимо душных лавок и скучных, застиранных дождями домов. Встречные опасливо глядели на гордо сидящего конного героя, на его сверкающие лампасы и покорно жались на всякий случай к обочинам. Героический конник на одесской улице звался Иуда Гросман – но в то же время почему-то и Давид Реувейни. Иуда не мог объяснить, почему он одновременно Давид и Иуда, хотя это было непреложно, и загадка тяготила душу спящего.

Про Давида Реувейни, еврейского князя, рассказал отец. В давние времена князь Давид, силач и воин, приехал к нам из Африки, где вдоль синей реки Самбатион лежало, греясь на солнце, заповедное еврейское царство. Не было нищих в том царстве, потому что повсюду там росли апельсины и фиги, и можно было свободно их есть и варить повидло на зиму. Взрослые состояли в царском войске, а дети не ходили в школу, они учились только военному делу, верховой езде и игре на бильярде. Царь Иосиф сидел у себя во дворце над рекой Самбатион, на веранде, тренькал на лютне, и ему было хорошо и приятно. Армией командовал Давид Реувейни – грозный герой и брат царя. Одним ударом меча князь Давид мог развалить любого от шеи до самого седла.

Все евреи царства были сильны и ловки, как цирковые гимнасты из шапито «Монблан» на Молдаванке, и не было среди них ни одного, кто ходил бы с очками на носу. А про наших евреев, про их несчастное положение они не знали совершенно ничего – до того часа, когда балагула Аврум-Лейб Бессеребряный из города Сороки, спасаясь от погрома, не переплыл Черное море, не проехал через Турцию на своем биндюге и не прибыл тысячу восемьсот дней спустя в Самбатионское царство. Там он сходил в синагогу, узнал, что и как, познакомился с нужными людьми и уже потом отправился к Давиду Реувейни. Услышав от Аврума-Лейба обо всех наших беспрестанных мученьях, князь Давид стал собираться в путь.

Что задумал в своей брильянтовой голове князь Давид Реувейни, умница и герой? Он задумал собрать всех наших евреев и отучить их бояться, а потом дать им ружья и сабельки, построить в линейки и отвоевать Иерусалим. Пусть музыкальный царь Иосиф сидит у реки Самбатион и тренькает на лютне, а мы будем жить на Святой земле с Богом по соседству. Но уговорить наших евреев сделать что-либо разом – нелегкое дело и почти невозможное. Один еврей идет налево, другой – направо, а третий остается стоять посередине. Об этом князь Давид Реувейни знать не мог, потому что Аврум-Лейб Бессеребряный насчет этого даже не заикнулся – ему было неудобно перед большим человеком.

А дальше пошло-поехало. Давид Реувейни приплыл на большом корабле, изездил всю Европу, и то его гои дурили, то наши евреи. Разговоров было много, это – да. И то снег, то болото, то пустыня, то гора, то стрельба, то сечка, то чума, а то и холера. И из всех этих несчастий Давид Реувейни вышел цел и невредим, хотя есть еще такие умники, типун им на язык, которые говорят, что князь Давид умер в тюрьме, под замком. Князь Давид был герой из героев, храбрец из храбрецов и силач из богатырей. Он побил всех своих врагов, устал и поехал обратно на реку Самбатион, потому что наши евреи тянули одни влево, другие вправо, а третьи стояли на месте и копали в носу. А Аврум-Лейб Бессеребряный получил от князя

Давида Реувейни восемнадцать золотых червонцев, вернулся в Сороки и открыл там извозное предприятие.

Иуду, мальчика, не устраивал такой полуконец этой истории. Он, Иуда, вел себя куда более решительно и твердо, он совершал подвиги куда более дерзкие... Как жаль, что великий князь с Самбатииона ничего не знал об одесских налетчиках и биндюжниках с Привоза! С такими евреями он отвоевал бы Иерусалим, тут не о чем говорить. И то, что не дано было князю Реувейни, было дано мальчику Иуде: отряд, составленный из отчаянных евреев – уважаемых бандитов и востроглазых бильярдистов, внимательных воров и находчивых торговцев краденым, плечистых извозчиков и драчливых продавцов с Привоза, – ждал его приказа.

Мальчик Иуда ехал на своем коне – то вороном, то игренево, а то и буланом. Кавалерийское мелкое его седло музыкально поскрипывало, рука с плетью свешивалась вольно. Аптекари, адвокаты и курсистки в фильдекосовых чулках от всего сердца опасно приветствовали князя Реувейни и застывали с приоткрытыми ртами. А Иуда, все замечая внимательными круглыми глазами с верховой высоты, сидел совершенно неподвижно, как бы парил над улицей и над городом.

Мы сделаем все не так, думал и мечтал мальчик. Мы по-другому все сделаем, жестче и умней. Для того чтобы отвоевать Иерусалим, мало рассказывать грустные еврейские анекдоты. Кто это придумал, что для нас играть на скрипке хорошо, а в карты – плохо? Что шахматы – это нам подходит, а французская борьба не подходит? Что стрелять из ружья – это не еврейское занятие? Отряд – это хорошо, но целая армия – это лучше. Надо научить всех, всех еврейских приказчиков, ешиве-бухеров и наглых кладбищенских стариков скакать верхом и стрелять из ружья, как это делают гои. Надо, чтобы евреи научились убивать не только на бумаге – девять пишем, три в уме, – и тогда наша вялая кровь распустится и расцветет.

Курсистки в чулках глядели на князя Иуду, волновались и часто дышали. Чахоточный румянец заливал их татарские скулы, а глаза выражали семитскую овечью восторженность и покорную готовность.

Мы сделаем не так, думал и мечтал Иуда. Меня никто не обманет и не обдурит, и я не устану и не поверну назад. Я буду сильным, как гой, смелым, как гой, лютым, как гой. И все-таки я останусь евреем, евреем на коне.

Он поравнялся с синагогой, прочно стоявшей среди жилых домов квартала. Евреи высыпали на улицу после молитвы, и одни шли налево, другие – направо, а третьи стояли на месте, шурились на солнце и копали в носу.

## Часть 1

### Двор

Колеса сухо цокали на раздолбанных стыках, на поворотах вагоны бросало из стороны в сторону – так, что стопки бумаги, кружки, зачерствевшие остатки вчерашнего ужина ездили по редакционному столу, а бредивший в тифу немолодой, лет сорока пяти линотипист Кузнецов начинал выть и звать какого-то Сему. И все же движение было приятно Иуде Гросману: впереди лежало неизвестно что, неведомое море времени.

За окном бежали степные перелески наперегонки с желтыми летними холмами, с редкими хуторами, притворяющимися мертвыми. Иуда переводил взгляд из-под очочков со струящейся лесостепи на лист сероватой бумаги перед собою, покусывал конец ручки крупными квадратными зубами. Заметка получилась как бы воротами в будущую фронтную, хотелось бы надеяться, боевую работу: портреты подъезжающих к смерти конных людей, задумчивое ожидание первого – не для них, а для него, Гросмана, – боя. Он, Иуда, получался в этих зарисовках человеком многоопытным, с рассекающим беспощадным взглядом.

Снова завыл, а потом вдруг умолк и открыл осмысленные глаза линотипист Кузнецов.

– Ну, ты как? – требовательно спросил Иуда, обернувшись к больному.

– Дождь, – сказал линотипист. – Дождь, грязь, несчастье... Дети пропали, родители в земле. Род развалился, сгорел. Евреи ваши с ума сошли, песни поют. Ни рода теперь, ни племени. Дождь, грязь...

– Евреи давно с ума сошли, – откладывая ручку с пером, сказал Иуда. – Вон у казаков и песни, и род: родня до седьмого колена. Им что – лучше?

– Евреи Богу поют, – сказал линотипист и, кряхтя, повернулся со спины на бок. – Сидят в синагоге и поют. А чтоб от счастья – нет, это – ни-ни. Мрак, мальчик, конец.

Иуда промолчал, глядя на исписанные прыгающим почерком странички без подписи. Зря он взял этого Кузнецова в синагогу в Житомире, зря. Кузнецов просил, как об обычном: «Сходим, что ли!» – хотел поглядеть, как это у евреев. А теперь Иуда вдруг почувствовал, что, взяв его с собой, совершил предательство. Ну, правда, что Кузнецову делать в синагоге? В еврейство, что ли, он решил перейти? Нет. Значит, просто любопытство. Так пусть бы книжку какую-нибудь почитал про то, как *это* у евреев. Там, в синагоге, все свои, хоть даже незнакомые друг другу евреи, а – свои. Кузнецов там просто не к месту.

А когда он, Иуда, приходит в церковь и с неотвратимым тревожным любопытством смотрит на распятого? Это – как? Это можно. *Ему* – можно, его любопытство особого свойства, охотничьего, губительного. А Кузнецову в синагогу нельзя, потому что синагога не публичный дом, а семейная спальня. Туда посторонним вход воспрещен-с.

Все зависит от пересечения обстоятельств, подумал Иуда, и это пересечение и есть Бог. Одни приходят на войну, чтобы поймать пулю ртом, другие – чтобы умереть от тифозной горячки. А третьи соскребут пучком травы чужие мозги с собственных галифе, бросят пучок на землю и дальше пойдут. И кто оправдывает собственную жертвенность, тому красные галифе как корове седло. В конце концов, если б Авраам принес-таки Ицхака в жертву, пырнул бы его ножиком, что бы из этого произошло? А ничего хорошего не произошло бы. Во всяком случае, его, Иуды, не было бы сейчас на свете, в редакционном вагоне, на подъезде к фронту: с ударом Авраамова ножа мир бы покатился по другой тропинке и родились бы другие иуды и другие линотиписты кузнецовы. Но все обошлось, успокоилось, и Ицхак родил Иакова. Поэтому прав тот, кто ходит в красных галифе и читает враскачку справа налево. Все в порядке, да здравствует прицельный взгляд любопытного, женщины с длинными выпуклыми икрами и победа пролетарской революции.

Иуда улыбнулся, поправил очки на круглом скуластом лице и придвинул к себе стопку исписанных страничек. Иуда Гросман. Фронтовой репортер Гросман. Нет, для подписи это не годится, тут даже Сидоров более подходит. Что-нибудь другое нужно, псевдоним. Может, просто перевести с еврейского? Гросман – это Большов. Нет, плохо: Большов, Меньшов. Довольно-таки примитивно: большой – значит, хороший, сильный. Может, Львов, Орлов? Кречетов? Или просто Волк? Нет, зверинец какой-то получается, зоопарк. Булатов? Или все-таки Сапсан, Шатун? Нет здесь настоящего пороха, пламени: не запоминается. Серпов? Нет, не годится: то звери, теперь сельхозинвентарь. Черт! Красными галифе тут и не пахнет... Страшнов, Страшный? Это уже лучше. Лютый?

Иуда Гросман сгорбился над страничками, подписался с нажимом, резко: Лютов.

Редакционный вагон был как бы портом приписки. Из редвагона выходили лишь затем, чтоб, пошныряв по необходимости, в него вернуться. Этого было недостаточно, это надоедало.

Такова была и общая тактика: красные действовали преимущественно вдоль железных дорог, имея тылом бронепоезда, неприступные, как крепости. А немного отступя от чугунки, в чистом поле, даже если оно и заросло кое-где лесом, царил Нестор Махно, либо кроволобивый атаман Григорьев, либо мало кому известные Катька с приятелем Егоркой в канареечных шелковых портках.

Первая конная Буденная армия, выгрузившись из эшелонов, убегала в поле. Нужность Лютова конной армии, войне и революции состояла в сидении за вагонным столом, а его тянуло от умирающего скучного Кузнецова к завидно живым казакам и виду живой крови. Раненые, которых волокли в поезд, лишь разжигали его непомерное любопытство: ведь этих полумертвых людей где-то тут рядом искалечило, кто-то в них стрелял, кто-то их рубил и резал. Кто и как? Вот на это надо было поглядеть: замах на скаку, прицеливание с охотничьим прищуром глаза. Да и самому хотелось скакать в казачьей лавине, со свистом и матом, с выдернутой шашечкой-гурдой. Смерть клонет соседа, это ясно, для Лютова пуля еще не отлита, ему еще жить и жить. Но вот же волокут раненых, и мертвых зарывают в степную землю. Лукавая История делается на глазах, и только ленивый не хочет взглянуть, что там у нее внутри: что там за колесики крутятся, что за стерженьки и пружинки, смазанные лучшей кровью. А когда, в какие это глупые времена механизм Истории смазывали розовым маслом? Каин убил Авеля, и пошло-поехало...

Перевод в боевую часть, туда, где стреляли и рубили, был для Лютова делом случайной удачи, как всё на войне. На войне одного отправляют к ведьме в ступу вопреки его желанию и намерениям, а другого, просившегося как раз к ведьме, перебрасывают к черту на рога. Почему? На войне спрашивать не принято, положено выполнять. Приказом о переводе из постылого редвагона в шестую дивизию, к легендарному Савицкому, Лютов остался вполне доволен. Все там должно быть, в шестой: и жизнь, и смерть, и жареное мясо с луком.

Штаб Савицкого стоял в недалеком сельце, на околице. Хата выходила палисадником к извилистой узкой речушке с зеленою непрозрачной водой. Вода текла медленно, никуда не спеша, и гладкая маслянистая поверхность была покрыта красивыми турецкими разводами. За спиной штабной хаты тянулись крытые соломой домишки, кое-где выжженные. В тишине и незыблемости летней природы эти траурные развалины не выли и не кричали о войне, как не вопят о мучительной смерти надгробные мраморные плиты, вмурованные в пол церкви, украшенной разноцветными картинами и бумажными цветами.

Добираться до штаба пришлось сначала на попутной подводе, а потом пешком. Пекло. Ноги в дурно подогнанных сапогах гудели, пот сползал со лба к глазам, под очки. Иуде казалось, что мир вокруг него пах вишней, а не кровью, и ему вдруг лениво и нежно захотелось, чтоб так было всегда и не было бы никакой крови, чтоб сохранялся безветренный покой и чтоб

выздоровел Кузнецов. Потом он вдруг вспомнил, что раненых везли отсюда, из этих самых мест, вспомнил черные заскорузлые пятна на одежде и как выли, выкатывая глаза, искалеченные. И запах вишни ослаб, но не исчез... «Странно, – думал Иуда, с усилием выкидывая вперед, в пыль дороги, ноги в раздолбанных сапогах, – странно как все это складывается и получается: красная вишня – и красная кровь, высокий покой полдня – и высокий покой смерти. И все это от одного корня, от одного зерна. Можно ли разделять, расщеплять ствол, и надо ли?»

У штабной хаты, у коновязи переступали с ноги на ногу подседланные кони и стояла тачанка. Пулемет помещался в задке телеги, на небрежно разостланном бугорчатом брезенте. Иуда остановился и долго празднично глядел на лошадей и боевую телегу, пахнущую крестьянским двором. На облучке сидела черная с подпалинами кошка и, продуманно работая лапкой, чистила плешивую морду с треугольным кожаным носом. Была тут, у крыльца, и небольшая собака, грязношерстная, с неподкупным и хмурым взглядом из-под седых бровей. Иуда и дальше бы так умиротворенно стоял, сбросив на траву заплечный сундучок, если б не боец, с грохотом сбежавший с деревянного крыльца и с бегу привалившийся литой атлетической грудью к выщербленному бревну коновязи. Иуда озабоченно перевел взгляд с пулеметной телеги на решительного бойца, своим буйным появлением внесшего поправку в милую картину жизни. Такая, казалось бы, малость: чиркнул человек со скрипучего крыльца, пробежал несколько шагов – и вот уже все в жизни сдвинулось и изменилось: встревожились кони и поставили уши торчком на дивных своих головах, стайка птиц снялась по тревоге с неслучайного здесь ветвистого дерева и исчезла в теплом небе. Да и сам бежавший – он-то что? Что его ждет – о чем он, может, и думать не думал четверть часа назад? Смерть его ждет или продолжение жизни? Любовь в овражке, под насыпью? Или котелок мясной похлебки с лавровым южным листом?.. А атлетический боец, привалившись к коновязи, пробормотал внятно, не обращая ни к кому в отдельности, а ко всему пространству, полному птиц и вшей, перелесков и белополяков, чутких рассветов и ночных звезд над нечесаной головой – к тому неоглядному пространству, которое иначе называется Бог.

– На Чугунов, – бормотал боец, – на Добрыводку. Ну, братцы, всё: хана!

Испугавшись чего-то, лошадь шарахнулась меж оглоблей тачанки. Боец обернулся и угрюмо поглядел. Потом подошел без спешки, влез в телегу и озабоченно разобрал вожжи. Телега тронулась. Из-под скукоженного брезента вылез на свет паренек в рваной черкеске и, протирая сонные синие глаза, сел к пулемету.

Иуда проводил тачанку взглядом, подхватил с земли свой сундучок и проворно поднялся по ступенькам крыльца штабной хаты.

С воли в хате было прохладно, притемненно. Свет входил в помещение сквозь чуть приоткрытые створки ставен – как будто кто-то добрый, могущественный вдвинул в комнату сквозь окна, до самой противоположной стены, литые широкие доски чистого золота. У некрашеного стола, опершись о него мускулистым задом, стоял усатый кавалер в алых рейтузах и небрежно сбитой набок малиновой шапчонке. Высокого, под два метра, роста кавалер взглянул на Иуду с его сундучком без видимого интереса, а потом достал из кармана роговой частью гребень для ловли насекомых и принялся усердно расчесывать свои ржаные кудри. Малиновую шапчонку при этом он ловко перемещал с затылка на лоб и от уха к уху, а не снимал ее с головы и не клал на стол по соседству с ворохом бумаг, шашкой в померкших ножнах и нагайкой с рукоятью в виде русалки из слоновой кости. Что же до улова, то кавалер аккуратно стряхивал его с гребешка на штабную карту и, производя тревожное потрескивание, давил посредством граненого ногтя большого пальца левой руки.

– Грызут... – объяснил свои оперативные действия кавалер, а потом, показывая отменные сахарные зубы на мальчишеском лице, спросил: – Тебе чего тут?

– Направлен в распоряжение вашего штаба, товарищ начдив-шесть, – доложил Иуда и протянул Савицкому пакет. Начдив разорвал конверт и, шевеля губами, прочитал написанное.

– Лютов, значит... – сунув бумагу под нагайку, задумчиво сказал Савицкий. – Жидковат ты что-то для коня, Лютов. А? – И усмехнулся безмятежно. – Вон колеса к глазам прицепил. Читать можешь?

– Обучен, – сказал Иуда. – И лошадей знаю и люблю.

– А чего ее любить, лошадь? – наморщил чистый лоб Савицкий. – Ты вроде не из этих, не из татар, что ли, или как их там... Из-за этих делов тебя казаки укоротят на двенадцать сантиметров. – И захохотал, высоко, по-петушьи закинув голову с гребнем малиновой шапчонки. – Писать можешь?

– Могу, – сказал Иуда и, подумав, добавил: – Я кандидат прав петербургского университета.

– Во-он как... – искренне удивился Савицкий. – Присылают черт-те знает кого. Кандидат, говоришь, прав? Прав – каких?

– Да разных, – сказал Иуда, с удовольствием глядя на мальчишку перед собой. – Всех, по существу.

– А еще не старый, – с сомнением качнул головою Савицкий. – Глаза-то где сломал?

– Двадцать шесть мне в июле, – сказал Иуда, снял очки и протер круглые стекла носовым платком.

– Ну, я и говорю, – сказал начдив и добавил с властным вызовом: – А мне двадцать два уже стукнуло... К нам-то чего? Сидел бы дома.

– Да интересно, – коротко объяснил Иуда и умолк.

– Тогда ясно, – сказал Савицкий и вдруг зевнул и потянулся всем своим большим ладным телом танцовщика. – Иди на село, там Шурыгин стоит Антон. Бери квартирьера и иди, устраивайся. Всё.

Квартирьер, шустрый мужичонка за средние года, малорослый и припадающий на левую ногу, вел Иуду по улицам села. Улицы были пустынные, ни жители не встречались, ни скотина.

– Пусто, хоть шаром покати, – сказал Иуда. – Что так, друг? Хоть бы курица какая подвернулась.

– Курей наши всех дочиста подъели, – сообщил квартиррьер. – Курей, гусей. А люди тоже боятся, сидят по домам.

Во дворах, за открытыми настежь воротами, бойцы праздно сидели или спали в теньке. Кое-где курились дымки костерков под чумазыми походными котлами.

– Сейчас тут просторно, – сказал квартиррьер. – Чесноков полк свой увел на Чугунов-Добрыводку, вот и освободилось место.

– Так он же вернется! – возразил Иуда. – Люди его придут, а место занято.

– Как занято? – тупо моргая, спросил квартиррьер.

– Да так, – сказал Иуда. – Я его, к примеру, занял.

– Ну и что! – сказал квартиррьер. – Все не вернутся. – Он покачал головой с высокими залысынами. – Хорошо, если каждый пятый придет. Места всем хватит.

– Ну да, – сказал Иуда. – И в селе, и в земле.

– Это мы не знаем, – сказал квартиррьер и сплюнул клок желтой слюны себе под ноги. – Ты тут-ка постой, я сейчас! – Он живенько похромал в ворота, во двор и вернулся немедля, горбясь.

– Не, не хотят, – сказал квартиррьер. – Тут, они говорят, все свои, станичники, а чужих не надо. И мне еще по загровку дали...

Не захотели чужака и в соседнем дворе; там, у тлеющего костра, вокруг треноги с подвешенным ведром домовито сидели умывшиеся перед едой казаки. Квартирьер, припав на хроющую ногу, укоризненно глядел на ведро, из-под крышки которого бил мясной пар. Подождав недолго, Иуда вошел во двор и со стуком скинул сундучок на землю.

Как бы дождавшись знака, от огня молча поднялся босой, с чистыми разлапистыми ступнями казак и, осторожно ступая, подошел к Иуде. Квартирьер перевел укоризненный взгляд с ведра на босого казака. А босой, без усилия развернув Иуду за плечи, толкнул его распяленной пятерней меж лопаток. Потом, аккуратно подняв сундучок с земли, выкинул на улицу и его.

Крышка сундучка откинулась от удара, стопка белья, исписанные странички, ноябрьская книжка «Летописи» четырехлетней давности и коричневые картонки фотографий рассыпались по земле. Иуда, морща лоб, принялся собирать рассыпанное. Квартирьер вышел из ворот и, насупясь, глядел за его работой.

– Пошли, что ль, – сказал квартирьер, когда Иуда закрыл крышку сундучка и выпрямился над ним. – Мишка Слегов, может, пустит, во-он там, на углу... Ну, давай, топай!

В угловом дворе, просторном и захламленном, казаки пили самогон, заедая его домашним мраморным салом. Высокий брусок сала лежал на тряпице, на порожнем зарядном ящике. Пьющие были задумчивы, один из них вдруг запел неожиданно чистым и нежным голосом:

Родной закат над речкою прохладной  
И мамка молодая на базу.

– Мишка! – просительно позвал квартирьер. – А, Миш!

Сейчас этот красивый Мишка увидит Иуду в его городских чужих очках, и снова брякнется выброшенный сундучок оземь, а его владельца вытолкают взашей со двора. Они примут своего, с молодой мамкой, с засохшей под медвежьими когтями кровью. Одесская мамка Фейга Ароновна с третьего этажа им не годится. Зато если вот сейчас, не затягивая паузы, изнасиловать для смеха хозяйку или зарезать хозяина – он, четырехглазый, подойдет с грехом пополам.

Не задерживаясь на улице, Иуда вслед за квартирьером миновал приоткрытые ворота и, не останавливаясь, прошел в хату. В горнице земляной пол был посыпан серебристо-зеленой травой, за пустым столом, подперев подбородок коричневым кулачком, сидела старая еврейка в серой косынке. Косынка плотно, без морщин облегла голову женщины от лба до шеи пониже затылка, оставляя свободными маленькие, чуть оттопыренные уши с мясистыми мочками.

– Я тут у вас поживу пока, – поставив свой сундук на пол, сказал Иуда. – Накрывай, хозяйка, на стол, есть надо. Хлеб ставь, молоко.

Старуха глядела на Иуду настороженно и оценивающе, как птица на кошку.

– Молоко! – сказала старуха и развела руками. – Молоко им надо, этим газлоним! Где я вам возьму молоко, готеню майнер штаркер? Вы выпили мою кровь, вы съели мое мясо. Вот, смотрите, пан красный командир! – И старуха принялась бить себя кулачками по гладкой голове.

– Что она мне тут показывает за номера... – пробормотал Иуда, не удерживая, однако, хозяйку от самоистязания. – Где хозяин? – Шагнув к дощатой двери, ведущей в чулан, он отпахнул ее ударом ноги и заглянул внутрь.

Старуха перестала биться и зорко глядела. В углу чулана, привязанный веревкой к крюку, копошился в гуде тряпья крупный серый гусь. Увидев Иуду в солнечном проеме двери, гусь угрожающе вытянул шею и зашипел.

Иуда шагнул вперед и сходу, ногой прижал птицу к стене. Что-то сухо хрустнуло, гусь, завалившись набок, щелкнул клювом и долбанул Иуду по голенищу сапога. А Иуда, ловко действуя, достал из кармана перочинный ножик, раскрыл его и, поймав в кулак красивую шипящую голову с зеленоватыми глазами, повернул ее, чтобы не забрызгаться, белым горлом к стене и полоснул лезвием. Толстой, в палец, струей ударила в стену кровь, птица забилась под ногой и сникла.

Держа гуся под мышкой, прижимая локтем его еще подрагивающие крылья, Иуда вышел из чулана. Хозяйка, немо приоткрыв рот, наблюдала за ним. Ярость бессилия лежала в ее округлившись глазах, как ряска на воде.

– Спокойно, иденэ, – сказал Иуда. – Так надо, чтоб ты была здорова...

Хозяйка не проронила ни слова, только покарябала ногтями по гладкой столешнице.

Иуда спустился во двор, не спеша подошел к казакам, молча глядевшим.

– Гусь, ребята, – сказал Иуда, опуская птицу на землю. – Ужинать надо... Лютов я, Кирилл, будем знакомы.

Пожилый казак с бритой, в шрамах и царапинах головой молча подвинулся, уступая Иуде место.

– Кирил, Кирил, – сказал казак. – Хучь в равнины отдавай такого Кирила.

Казак засмеялись одобрительно, вежливо.

Дни бежали за днями, недели складывались в месяцы, убитых опускали в ямы на вечное хранение, новорожденные визжали и придиричиво шурились на свет, – а военные силы перемещались почему-то вокруг Житомира, как будто не мировая революция была конечной целью войны, а еврейский город Житомир.

Иуда Гросман любил бродить по Житомиру, по его глубоким улицам, наполненным зеленым воздухом, душистым на вкус. Прохожие нечасто встречались, жители предпочитали отсиживаться по домам, с терпеливостью насекомых ожидая окончания военных действий и прихода торговых мирных дней. Настороженно людными оставались лишь базар и улицы, выходящие к нему. Перед сумерками, перед первой молодой звездой можно было повстречать по всему городу Житомиру молчаливые группки евреев, привычно бредущих в своих черных длиннополых кафтанах в синагоги на вечернюю молитву. Там, в синагогах, евреи разверзали по-военному сведенные на открытом пространстве уста и начинали айкачь и ойкать, и цокать и причмокивать, и потерянно разводить руками, и горестно качать головами.

Иуда заглядывал в душные гудящие синагоги, шатался по базару, засунув руки в глубокие карманы кавалерийских штанов. От легкой свободы, от нечего делать он принимался сравнивать Житомир с Одессой: дома и улицы, редких женщин, небо в лиственной зеленой опушке. Он принимал Одессу как неизбежную родину, она была дорога ему как имущество, но он ее не любил. Более того, иногда он испытывал тихую заледенелую ненависть к родному городу – с его вульгарным самохвальством, с его потными болтливыми женщинами, с его километровой дурацкой лестницей, ведущей к замызанному грязному порту. И чем ненависть была упрямей, тем веселей и легче, и секретней было дурить самого себя: придумывать иную Одессу, солнечно-золотую, населенную героическими остроумными бандитами, плотоядными девками с раскоряченными коленями, умными неряшливыми стариками и немислимими еврейскими старухами, торгующими на Привозе снулой рыбой и битой птицей и умеющими свистеть в два пальца так, что у любителей этой музыки сердце поворачивается поперек груди и темные слезы зависти выступают на глазах... Всякий порядочный человек должен любить место своего рождения лишь за то, что его угораздило появиться на свет именно там, а не в соседнем вонючем городишке или местечке. Примерно так же должно любить свою мать – в отплату за тяжкие родовые усилия и толику грудного молока. И кто поступает иначе или хотя бы сомневается в основополагающей справедливости такого положения, тот недостойный человек, вор. А то, что нет никакой любви, не числится она в списке сущего – ни к собранию домов, ни к матери, ни к красивой девке с тяжелой грудью и горячей рубиновой сердцевиной, – об этом и думать запрещено. Нет любви, а есть сопротивление любви – противополовь. И есть тоска по любви, как по звездам, по отцу, по прохожей женщине.

Житомирские женщины лучше одесских. Белые нежные лица с вправленными в них вишневыми глазами выглядывают из нищенского военного тряпья. Роскошная сила молодого тела,

изгиб бедра и длинные упругие икры в драных чулках – все это бесценное богатство скрыто от посторонних глаз, а как жаль... Можно понять нервно-слащавого мусульманина, почти теряющего сознание при виде выглядывающей из-под платья голой лодыжки: ведь все остальное вмиг допридумывается, дорисовывается, делается осязательным до головокруженья.

Человек на войне думает о женщине постоянно – как о хлебе и мясе. И ни при чем тут ни инстинкт продолжения рода, ни страх перед одиночеством смерти. Просто военный откровенный человек прежде всего хочет есть, потом – спать с женщиной. В таком порядке, не наоборот. На смерть он никак не может повлиять, в то время как добывание пищи и женщины зависит от его усердия. И только если добыть женщину никак не удастся, он вспоминает о жене, оставленной в далеком тылу и существующей как бы в ином измерении – недосыгаемая и неосязаемая.

Иуда женился на Любе, одесской Любе, всего как полгода. Была хупэ, был стол, была свадьба. Иуда искренне надеялся жить с Любой, пока не надоест – может, и всю жизнь. Житомирские женщины с прекрасными голодными глазами не имели ко всему этому никакого отношения: они были рядом, под боком, под рукой, и Иуда их обнимал, с благодарным любопытством разглядывая их лица в звездном свете на ночной поляне, заляпанной коровьими лепешками. Он всех их хотел, всех этих услужливых и уступчивых сестер по желанию. Вливаясь в них на коровьей поляне, он ощущал себя острием Млечного Пути, и их благодарные стоны были наградой за его сладкий труд. И каждый раз сызнова переживая потрясение победы, он отрывисто смеялся, как лаял, и пузырьки смеха сквозь темень ночи подымались во Вселенную. Какая связь тут была с молодой Любой, в далекой Одессе перенимающей у своей усатой мамы искусство варить сливовое повидло?

На житомирском базаре можно было многое купить поштучно: латунный таз и пиджак с оторванным лацканом, фунтик соли и цыбик чая, лимон и лимонку, хлебный каравай и никелированную хирургическую пилу. Внимательно выслушивая интересные предложения, Иуда проталкивался вдоль кривых торговых рядов; продавцы, разложив товар на земле, на пыльных мешках или старых газетах, провожали конармейца терпеливым взглядом.

На окраине базара, на отшибе торчала из пыльной земли будка не будка, а как бы дощатый домик – теремок для бедных. Косо припавший на один угол, сколоченный из вполне подручного материала – реек, фанеры и дранки, – он чудом держался. Над единственным окошком был прибит наличник изумительной работы, весь резной, недавно выкрашенный яркими красками: желтой, синей. Над крышей на высоком шесте вертелся жестяной петух-флюгер с хвостом из павлиньих перьев. У входа в домик празднично стоял, уперев руки в боки, маленький старый еврей в черной ермолке на плешистой голове. Увидев Иуду, он взглянул на него пусто, а потом его голубоватые выцветшие глазки налились интересом, и он, припадая на левую, чуть короче правой, ногу, легко похромал навстречу конармейцу. Поравнявшись с ним, старик властно выкинул руку вперед и прикоснулся тонким пальцем к груди Иуды. Иуда остановился как вкопанный. Таким уверенным движением можно было остановить и бронепоезд.

– У меня до вас дело, рэб красный командир, – вкрадчиво сказал старик. – Войдемте в магазин.

У самого входа в теремок старик остановился.

– Вы ведь еврей, ну конечно, – сказал старик и покачал головой. – Чтоб она пропала, эта война... Милости прошу. Меня зовут Гедали, к вашему сведению.

– Кирилл, – сказал Иуда Гросман. – Лютов.

– Гедали, – повторил старик, – так называли меня родители, да будет благословенна память о них. Но здесь, на базаре, все зовут меня Шепселе. Шепселе так Шепселе. Вопрос: почему? Потому что так интереснее. А что мне от этого убудет? Ответ: ничего. У евреев так положено: тебя зовут, предположим, Рувим, а ты откликаешься, допустим, на Алешу... Это же интересно!

И я вам заявляю, и не вздумайте сказать мне «нет»: вас тоже не всегда зовут Кирилл Лютый, будьте уверены.

– Допустим... – сказал Иуда и наморщил лоб под буденовским шлемом. Бегущая речь Гедали приятно обтекала его, было в ней что-то потаенно-родное, запретно-стыдное. – Иногда меня зовут Иудой, чтоб вам было ясно.

– «Ясно» помножим на «неясно», вычтем «почему» и получим ответ, – удовлетворенно пробормотал Гедали. – Ну войдите уже, что вы тут стоите, как башня Вавилонская!

Иуда послушно переступил порог теремка. Он ожидал почему-то увидеть коричневую корицу, турецкие вяленые фиги и мешки с персидским рисом, но ничего этого не оказалось в полутьме комнатухи. Прямо против входа громоздились начищенные до блеска рыцарские доспехи, составленные из частей, как членистоногое существо, против них помещалось чучело медведя на дыбках, с медным подносом в лапах. Под окном стоял рогатый корабельный штурвал, над оконным проемом ветвились раскидистые олени рога. С потолка свешивалась на кандалных цепях высушенная туша акулы с неприятными стеклянными глазками.

– Это все – ваше? – огорошено спросил Иуда. – Так, значит, вы богач и волшебник?

– Ну да, – со вздохом согласился Гедали. – Если Богу Авраама, Ицхака и Иакова требуются богачи и волшебники, то почему бы ему не указать на меня своей тросточкой? Но взгляните сюда... – И Гедали указал, куда глядеть.

На стене, на медных гвоздях, развешены были котелки, подвенечные шляпки с вуалью, канотье, панамы, береты, фуражки и кепки, шапокляки и цилиндры. Еврейских ермолок и штреймлов тут не было и в помине.

– Ну как? – спросил Гедали, примеривая цилиндр. – Нравится? А это? – он снял с гвоздя и протянул Иуде бандитскую кепку. – Вы можете примерить... А это дайте мне, я подержу. – Он стянул с головы Иуды кавалерийский буденовский шлем с острой тульей и со звездой и с любопытством заглянул внутрь.

– Кто-нибудь у вас это покупает? – с сомнением спросил Иуда.

– Никто, – сказал Гедали. – Но купец – красный, белый и зеленый – должен уметь хорошо ждать. Уйдут одни, извиняюсь, разбойники и придут другие. И кто-нибудь что-нибудь когда-нибудь купит... Продайте мне вашу шапочку, рэб командир, или лучше обменяемся! Вы видите, у меня есть все – но вашей шапочки у меня еще нет. Что будет с вами, знает один Господь Бог на небе, но ваша шапочка сохранится у меня в почете и уважении. Ну? Сделаем дело?

– Дайте акулу, – сказал Иуда, глядя на Гедали, который аккуратно, как бабочку на иглу, нацеплял буденовку на гвоздь.

– Зачем еврею акула? – развел руками Гедали. – Еврею на коне и с шашкой нужен добрый шматок сала, или хорошая девушка. Девушка нужна еврею?

– Нужна, – сказал Иуда.

– Еврей получит девушку, – сказал Гедали и наклонил голову к плечу. – Хорошую девушку, здоровую и без болезней... А что, талес нужен еврею на коне или, не дай бог, сидер в переплете?

– Приличная девушка? – спросил Иуда.

– Из приличной фамилии, – уклончиво ответил Гедали.

– Она из наших? – спросил Иуда.

– Нет, – твердо сказал Гедали. – Она гойка. Но – хорошая гойка. Ее отец торговал отрубями, он тоже был хороший гой и умер без мучений, чтоб мы все были здоровы.

– Чем же он был такой хороший? – спросил Иуда.

– А! – светло улыбнулся Гедали. – Оставьте! Хорошему гою – хорошая смерть, а плохому гою – плохая смерть, но, между нами говоря, чтоб они оба сдохли как можно скорее... Ну идемте же, Юда, идемте!

– Когда мы выйдем из вашего дворца, пан волшебник, называйте меня Кириллом, – сказал Иуда. – Гут?

– А вы меня – Шепселе, – откликнулся Гедали. – Так будет лучше. Для всех.

Они вышли, и Гедали навесил амбарный замок на хлипкую дверь.

Базар принял их в тысячерукие тиски. Проходя вдоль жидкого рыбного ряда, Иуда услышал за спиной вполне отчетливо:

– Шепселе заарестовали. Вон ведут.

Расслышал и Гедали своим серебряным ухом.

– Дурак, – не оборачиваясь, сказал Гедали. – Не успел Моисей залезть на гору, как каждый уже желает другому, чего ни на грош не хочет для себя. – И добавил печально и брюзгливо: – Это люди!..

– Мир состоит из разных людей, рэб Шепселе! – вполголоса не согласился Иуда. – Шапку мою вы хотите, а то, что под шапкой, не видите. Зачем мы затеяли все это? – Он коротко повел рукой, указывая на небо и на базар под ним.

– Вопрос, – строго сказал Гедали, – зачем?

– Мы устроим роскошный интернационал, – сказал Иуда. – Никто не будет желать другому того, что ему самому не подходит. Каждый человек получит коржик с маком. Моисей спустится с горы и придет в восторг. Это будет интернационал добрых людей!

– Ин-тер-националь, – ворчливо повторил Гедали. – Нужно проделать дырки в языке, чтобы сказать это слово... И откуда они возьмутся, эти добрые люди? Вы их видите? Я их не вижу. Дайте я надену ваши очки, рэб Кирилл, дайте я посмотрю на свет вашими глазами! Интернациональ он хочет завести тут, в Житомире, как вам это нравится...

Гедали сердито замолчал и не проронил ни слова, пока они не подошли к чистой хатке под надвинутой на синие окошки соломенной толстой крышей, в пяти минутах ходьбы от базара.

– Это тут, – останавливаясь, сказал Гедали. – Вы придете сюда вечером, после первой звезды, вы постучите, но не очень громко, три раза, вот так, – и он трижды ударил ножкой в землю. – «Марусичка, – скажете вы, – известный вам Шепселе прислал меня к вам на постой и на удовольствие». Так вы скажете, если в вас еще играет капля любопытства. И этой Марусичке вы можете рассказывать про интернациональ, потому что ее уши сделаны из воска египетского, ее уши – пещеры, в которых живут кошки с собаками.

– С собаками? – переспросил Иуда, пристально, по-охотничьи оглядывая хату.

– Да, – сказал Гедали. – А теперь идите. Я бы дал вам коржик с маком и взял бы вас в синагогу. Но, скажите мне, о чем вам просить нашего Бога, рэб красный командир?

Действительно, о чем? – думал и рассуждал Иуда Гросман, нетерпеливо поглядывая на небо в ожидании первой звезды. Вот ведь как устроена жизнь: все время о чем-то просишь, и не надоедает просить, и ты даже не замечаешь, что жизнь твоя – это одна бесконечная просьба. Просишь папу, чтоб не шлепал, просишь маму, чтоб дала конфетку или денежку. Просишь товарища, чтоб обменял с тобой марку страны Того на марку страны Гваделупа. Просишь учителя, чтоб не ставил тебе двойку по алгебре и ничего не рассказывал родителям. Просишь милую девушку, чтоб она поскорей сняла с себя кофточку и панталоны. Просишь начальника, чтоб он повысил тебя в должности и прибавил жалованье. Просишь командира, чтоб перевел тебя в другую часть. Просишь уличного хулигана, чтоб не бил, бандита – чтоб не резал. Просишь милиционера, чтоб не тащил в участок. Просишь солнце, чтоб так не палило или, наоборот, чтоб грело посильней. Но просят о чем-то своем и папа с мамой, и приятель-филалист, и учитель по алгебре, и девушка в панталонах, и начальник с портфелем, и командир с пашкой на боку, и хулиган с фиксой, и бандит с финкой, и милиционер со свистком. Все про-

сят, и ты просишь. А если нет под рукой ни приятеля, ни начальника, ни хулигана – просишь Бога: «Дай денег, спаси от смерти, сделай так, чтоб у милой девушки не оказалось триппера».

Иуда тревожил Бога самыми разнообразными просьбами и не видел в этом ничего предосудительного. Лютов Кирилл – тот не стал бы просить: брал бы сам, и без спросу. Эх, Лютов, безукоризненный человек!.. А Иуде Гросману почему бы не попросить? И кого же тогда просить, если не Бога, когда люди по несовершенству натуры не хотят или не могут помочь и пойти навстречу? В этих своих вполне откровенных обращениях к Богу о помощи Иуда видел нечто интимное, никого, кроме них двоих, не касающееся. Иуда всецело доверял Богу, доверял, как самому себе, и ожидал от Бога доброго расположения за это безграничное доверие.

А к синагоге Бог не имеет никакого отношения. Да, синагога – закрытый еврейский клуб, туда надо ходить, чтобы слушать интересные разговоры о ценах на овес и сумрачных ежедневных несчастьях, приправленных, словно зеленым оливковым маслом, еще более сумрачными библейскими историями ветхозаветной давности, – а уж наверняка не для того, чтобы молить бараньим хором родного как-никак Бога, да еще в компании с новознакомым Шепселе. Это уж нет, спасибо... Лучше в поле выйти, в райское русское поле, по которому ходят женщины и кони, и просить там Бога и молить, о чем пожелает душа. Во всяком случае, в синагоге ничуть не ближе к Богу, чем в поле.

Отношения Иуды с Богом были легки и отчасти даже фамильярны. Синагога – дело другое. Стены и потолок строения только отгораживали от Бога, дурацкие разговоры отвлекали и мешали. Талес, наброшенный на голову и на вытянутые вперед рога рук, не спасал. Дуденье в рог раздражало и коробило слух. К чему дудеть? Почему тогда просто не бляеть? А зачем наворачивать на руку и на лоб тфилен? Эти коробочки на ремешках помогают евреям лучше говорить, а Богу – лучше слышать? И вообще, Богу нужны какие-то коробочки, пейсы и лапсердаки? Кто это все выдумал и зачем? Но никто, никто, даже князь Давид Реуевейни в расшитой золотыми цветами кацавейке не смел спросить: кто и зачем?

В синеватых сумерках подходя к хатке за базаром, Иуда привычно сменил ход мыслей. Он больше не думал о Боге, он думал о женщине по имени Марусичка, к которой Шепселе послал его на постой и на удовольствие в обмен на буденовский шлем с красной звездой. Марусичка представлялась ему большой, белой и теплой, как хлеб. Он попробовал представить себе ее запах, не смог и улыбнулся. Остановившись перед дверью, он снял очки, протер их платком и вернул на переносицу. Он уже любил неведомую большую Марусичку, потому что желал ее. Если бы перед ним в проеме двери возникла патлатая карлица, кривая и горбатая, он бы ее разлюбил. Поднимая руку – постучать три раза, негромко, – он не исключал появления карлицы.

Дверь приоткрыла молодайка в домашнем халатике и уставилась на Иуду скорее с изумлением, чем с испугом.

– Чего надо? – спросила женщина, стараясь придать голосу оттенок независимости.

– Марусичка? – по-заговорщицки глядя, сказал Иуда. – Привет тебе от Шепселе. Дай же войти – я на постой. – И, взглянув попристальней на женщину в халатике, добавил: – И на удовольствие.

– Какой еще Шепселе? – совершенно искренне удивилась Марусичка. – Не знаю я никаких Шепселев! – И неуверенно потянула дверь на себя.

– А у меня сахар есть, – не пуская дверь, сказал Иуда. – И куренок. Ну, отчиняй!

– А из мануфактуры? – спросила тогда Марусичка. – Есть что-нибудь из мануфактуры? Или готовое? Времена-то, сами знаете, какие тяжелые. – И вздохнула свежим дыханьем, и грудь ее, не обремененная поддержкой, качнулась под тонкой тканью халата.

– Разберемся, – проходя в хату, сказал Иуда.

За столом в прибранной комнате, украшенной бумажными цветами, сидел опрятный старик в жилетке и ел квашеную капусту из миски. Старик зачерпывал капусту ложкой, сливал сок и, не наклоняя лобастой головы на сильной еще шее, подносил пищу к косо раззявленному рту.

– Дед это, – сказала Марусичка, накидывая на плечи платок. – Микола Абрамыч, сродственник.

– Вижу, что не бабка, – озабоченно пробормотал Иуда и вывалил на стол провизию из вещмешка.

– Дед, дед, – подтвердил Микола Абрамыч, без стука кладя ложку на стол. – Будем знакомые... – И глазами почему-то завертел, заелозил.

– Он тут рядом живет, через дорогу, – внесла дополнительную ясность Марусичка.

Оставалось, однако, неясным, зачем лобастый Микола Абрамыч явился есть капусту сюда, а не остался вечерять в своем доме через дорогу. Черт его сюда принес.

– Ну, я пойду, – засобиравшись, задвигал табуреткой Микола Абрамыч. – А то темно, вечер. – Как будто идти ему не напротив, а в другой город.

– Ну, иди, – не стала удерживать Марусичка. – Завтра приходи.

А Иуда, дождавшись, когда брякнет дверь, с облегчением вытащил из кармана бутылку самогона и сел на дедово место. Марусичка, скинув наплечный платок, засновала, забегала, неся из кладовки тарелки и стаканы, добавляя капусты в миску. Иуде приятно было смотреть на ее хозяйственную суету. Он знал, знал приятным неоспоримым знанием, что захоти он – и вот сейчас, сейчас же может подойти к женщине вплотную, стянуть с нее халат, взять ее. Но можно было немного и подождать, посидеть вот так, слушая сильный и упругий шаг сердца, парадный шаг, откликающийся во всем теле.

– Вы красный будете или как? – присаживаясь к столу, вежливо спросила Марусичка.

– Какой же еще! – снисходительно пожал плечами Иуда. – Зеленый, что ли?

– Это я так, – приятно улыбнулась Марусичка. – Просто для разговора... Но вообще-то у нас и зеленые были, и белые, и даже черные. Кого только не было.

– Теперь я вот пришел с тобой лясы точить, – притворно-ворчливо сказал Иуда и зубами, со скрипом медленно вытянул затычку из бутылки самогона. – Подставляй! – И налил в стаканчики.

Ему, впрочем, и без вина было хорошо. Ему в радость было по-хозяйски рассиживаться тут, поглядывать чуть покровительственно, чуть снисходительно и нести легкую, как семечная лужга, чепуху о всяческих жизненных обстоятельствах.

– Ты борщ варишь? – спросил Иуда.

– Ну, варю, – с опаской, как бы в ожидании подвоха подтвердила Марусичка.

– А как? – продолжал допрос Иуда. – С помидорами?

– С помидорами, конечно, – облегченно хохотнула Марусичка. – Вот интересный...

Нащупать общий язык – это главное. С рыбаками говорить как рыбак, с казаками как казак. С чекистами как чекист. С Марусичкой – как Марусичка. Борщ с помидорами? С помидорами. Шелковые чулки не достать? Не достать... И ни слова ни о Льве Толстом, ни о Вудро Вильсоне.

А все-таки с Марусичкой куда проще получается, чем с казаками.

– У тебя тут чисто, – сказал Иуда. – Молодец. – И улыбнулся – вспомнил почему-то великого царя Петра, как ввалился к бело-розовой Анне Монс: кругом в Москве грязь, темень, дерьмо по колено, а в домике у немки чистенько, на окнах занавесочки в клеточку и гераньки в горшочках. Хорошо бы так по всей Москве, по всей России учредить.

– А как же, а как же! – плавно махнула рукой Марусичка. – Дом надо в чистоте содержать, и себя тоже: мыльни-то нет, моемся в корыте в неделю раз.

Иуда, щурясь под очками, не слушал. Грязь обезображенных войной местечек наползала на него, грязь, кровь и дерьмо, и тошнотворное это глюкающее месиво приливалось к стенам

белой хатки близ житомирского базара – и отступало. И сонмища мух нагло ломились в окна с воли, бились в стекла – и ни одна не зудела в тихой комнате.

– Пойду ставни запру, – сказала Марусичка, поднимаясь из-за стола. – А то шляются тут под окнами разные...

Русская женщина. Белая, большая. Запретный сладкий плод, на который целым поколениям Гросманов и смотреть-то было нельзя. Связаться с гойкой – что могло быть страшней! Теперь можно. Теперь революция, война, бардак вселенский.

– Все будет хорошо, – сказал Иуда. – В России дела чудесные: экспрессы, бесплатное питание детей, театры, интернационал.

– Ну и хорошо, и замечательно, – повела покатыми полными плечами Марусичка. – Детям молоко, что ли, выдают?

Русская женщина. Это всегда как заграница, как Африка для Ливингстона: чужой заманчивый мир, таинственная культура. И исследователь – как вор в саду: залез за яблоками. Славно быть вором в саду: я вор, я ворую счастье с деревьев чужого сада... Люба, одесская Люба с ее усатой мамой – это совсем другое. Люба – это свое, куда более свое, чем гимнастерка или сапоги. Вот так, примерно, синагога – раздражает, даже злит, а потом вдруг зальет душу детским драгоценным теплом: свое.

– Знаешь, вот смешно, – сказал Иуда. – Сегодня тринадцатое. У меня день рождения, двадцать шесть лет. А я и забыл.

– Тогда поздравляю, – сказала Марусичка и улыбнулась недоверчиво. – Так-таки и забыли?

– Нет, правда, – сказал Иуда. – С утра помнил, а потом забыл.

– А у меня недавно именины были, – сказала Марусичка. – А у вас именины тоже бывают?

– Ну да, – подумав, сказал Иуда. – Я ведь, вообще-то, русский. Отец у меня русский, а мать еврейка.

– Ну и что ж, – сказала Марусичка и сделала деликатную паузу. – Очень даже просто... Которые ваши – те никогда не хулиганничают, а Ванька придет какой-нибудь лупоглазый, напьется, все рушить начнет.

Бедный папа Хаим: если б он знал, что в доме житомирской девушки Марусички его зараз перевели в русского. Бедная мама Фейга: если б знала она, что шла под хупэ с гоём.

– Да вы кушайте, – сказала Марусичка. – А то всё думаете и думаете.

– Да, – сказал Иуда. – Не буду думать, ты права...

Но и говорить не хотелось, а обещание не думать не обязывало ни к чему: так, милословие. И, жуя сало с квашеной капустой из дедовой миски, Иуда думал о том, что хорошо жить здесь, в хатке, до рассвета, но не далее того и что надо записать в дневник историю облачно-лукавого Гедали и это имя при базарной девушки Марусички. Да, пожалуй, только имя – но его обязательно, а все остальное можно смело опустить, потому что это остальное мало чем отличается от других, живущих в других хатах и других городах: ну, комнатешка без бумажных цветов, ну, есть военные или довоенные дети.

– У тебя есть дети? – спросил Иуда.

– Скажите: Марусичка! – попросила женщина.

– У тебя есть дети, Марусичка? – с удовольствием повторил Иуда и отметил трезво, по деловому: и это – не забыть записать.

– У меня братик, ему уже десять лет исполнилось в мае, – сказала Марусичка и вздохнула тяжело, так, что полновесная грудь медленно пошла вверх, а потом плавным львиным прыжком опустилась вниз.

И Иуда, глядя на это головокружительное перемещение, пожалел, что и спросил о минутном: есть брат, нет его – какая разница? Надо было вместо этого встать, подойти со спины, наклониться тесно, руками приподнять, а потом опустить львиную царскую тяжесть.

– Такой хлопчик, такой хлопчик! – продолжала Марусичка. – Умница, красивый. Борик его звать. Нет, истинная правда! По-немецки умеет, по-польски. Он бы выучился на доктора, если б не война... И поет, и музыку играет.

– Надо его в Москву послать, – сказал Иуда. – Учиться. Школу кончит, в институт пойдет. Республика помогает одаренным детям.

– Да как же он там один! – подавшись вперед, воскликнула Марусичка. – А накормить, а постирать!

– Ты с ним поехать можешь, – решил Иуда. – Пойдешь на какие-нибудь курсы. Счетоводов, например.

– Ой, боже ж ты мой... – сказала Марусичка. – Правда?!

– Можно устроить, – помолчав, сказал Иуда.

– Устроить – как? – нагнув голову и заглядывая под иудины очки, спросила Марусичка.

– Именно так должно быть, – твердо сказал Иуда. – По справедливости.

– Справедливость-то – где она? – разочарованно махнула рукой Марусичка. – Справедливость только в сказках бывает. – Она уже готова была подняться со стула, бежать на вокзал и вместе с красивым братом ехать в Москву, где полно театров, непонятных электрических экспрессов и дают бесплатное питание, – и вдруг обнаружилась справедливость, как бревно на дороге.

– Я тебе все объясню, – нетерпеливо сказал Иуда. – Тут надо подумать, найти, на кого нажать. Я сделаю, вот увидишь... Ну иди ко мне!

Она послушно вышла из-за стола и, проходя по комнате, стянула с кровати вязаное белое покрывало. Поднялся и Иуда и расстегнул пряжку на гимнастерке. Но тут кто-то постучал тихонько в ставень: туп-туп-туп! – и покашлял деликатно.

– Черт! – озабоченно сказала Марусичка. – Чего надо?

– Я это, – донеслось с воли, – Микола Абрамыч! Отсыпь сахарку-то, честное слово...

– Потом, – жестко сказала Марусичка. – Завтра... Ишь, сахарку ему!

– С сахарком не шути, – озабоченно сказал Иуда, – а то до Москвы не доедешь. Сейчас не то что за сахар – за мешок соли к стенке ставят... – И добавил просительным шепотом: – Ну иди!

Кровать была широкая, панцирная, никелированные шарики на спинках – для красоты. Кровать плыла, как баржа: остойчиво, медленно. Иуда ощущал этот ход, это волнистое скольжение, не имеющее ничего общего ни с рекой, ни с морем. Может быть, с небом, нежным прохладным небом, по которому, как лошади по лугу, идут облака. Плыла белая баржа, коптилка ровно горела у нее в ногах. Мир комнаты был покоен неправдоподобно, и семицветная страсть зачатая – эта сумасшедшая радость разнузданной души – не касалась покоя комнатного мира посреди войны и не коробила его. Иуду как бы выбросило прочь из времени, и не озадаченная кривизною фронтовой жизни Марусичка была тому причиной, а вот это безмянное большое, белое, вздымавшееся под ним и перекатывавшееся с боку на бок и сверху вниз.

А потом чуть скрипнула дверь в чулан, и в круг света, отбрасываемый керосиновой лампой, на бесшумных лапах вошел кот с обвисшей мышью в зубах. Опустив круглую костлявую голову, кот медленно шел, и Иуда, нехотя возвращаясь в привычное сознание, с изумлением увидел, что мышь вываляна в сахаре: белые крупинки пристали к исполосованной кошачьими когтями серой бархатной шкурке. Иуда потянулся к гимнастерке за очками. Уловив движение на своем пути, кот, не выпуская мыши, метнулся обратно в чулан. Марусичка спала. В чулане что-то тупобрякнуло – то ли упало, то ли перевернулось. И сразу донесся оттуда прерывистый короткий стон, точно теленок взмыкнул от страха или от боли: «Мы! Ма-ма!» Иуда сбросил ноги с кровати, взял лампу и шагнул к двери чулана.

Шаткий свет коптилки выхватил в темном закутке, перед дощатыми полками, заставленными кринками, глечиками и мисками с сахаром и крупой, самодельное инвалидное кресло-

коляску. В кресле, на темной подушке, сидел, привалясь к подлокотнику, мальчик лет десяти, уродливо и страшно скрюченный болезнью. Лицо мальчика, обезображенное чертами идиотизма, выражало испуг. «Ма-ма!» – увидев Иуду, снова невнятно позвал мальчик и задергался в своем кресле, как будто хотел встать и убежать, спрятаться – и не мог. И кот мел хвостом в углу и рычал, не выпуская добычи.

Иуда отступил, пятясь, за проем двери и наткнулся спиной на хозяйку.

– Борик, – шепотом сказала Марусичка. – Сердце мое...

Иуда, шлепая босиком, прошел к столу и сел. Ему сделалось легко и приятно. Кот с сахарной мышью, калека-сын в чулане: говорит по-немецки, музыку играет. Великолепная спекулянтка Марусичка, душевная. Необыкновенные чудеса в житомирском решете. Теперь можно обуваться, прощаться, уходить.

– Лечить его надо, – строго сказал Иуда. – Мальчика. И вылечить. Вот так. – И потянулся за сапогами.

– Кто ж возьмет лечить-то, – вздохнула Марусичка. – Кому мы нужны... Вон Микола Абрамыч тоже обещал, старался – а что из этого вышло?

– Тут думать надо, – сказал Иуда и улыбнулся, затягивая ремень. – Может, что-нибудь и получится. Только надо подождать.

Ему хотелось на волю, в теплую ветреную темень, замешанную на звездах и кострах, и он знал уверенно, что вот сейчас он там и окажется – только переступить порог белой Марусичкиной хатки.

– Ты жди, – сказал Иуда. – Я еще приду. – И бегом спустился с крыльца.

Прошла неделя, десять дней, дивизию перебросили в район Козина, начдива Савицкого сместили без скандала, немало воды утекло в речушках Волыни и Галиции, а Иуда все вспоминал почему-то Марусичку и, усмехаясь, явственно видел перед собою шелудивого кота с мышью и калеку в самодельной каталке. Что далась ему эта Марусичка? Ну крепенькая кобылка, и козел этот при ней, Микола Абрамыч. Обычная военная история, без таких историй война казалась бы просто остановкой на кладбище, беганьем вокруг могилы. Имя, что ли, застряло щепкой в памяти? Тут ведь палка об одном конце – девка, наверняка, забыла начисто об этом приключении, эта ленивая лебедь даже не полюбопытствовала, чем он, красный гость с очками на носу, в жизни занимается. Узнавая, что мимолетный ночной всадник – писатель, такие добрые кобылки приходят в неприятное возбуждение: сочиняющий над бумажным листом человек столь же труднопредставим для них, как укротитель носорогов. Писатель – запоминается. А эта даже не спросила... И все же она стала своя, и не только в той плывущей барже с никелированными шариками, но и когда наткнулся на нее спиной, пятясь из чулана: она лукаво обманула, сочинила историю про красивого брата, одаренного мальчика. Она сочинила для него, для Иуды, и выдумка эта сочилась из ее сердца, и была в этом некая родственность душ. Вот так он сам сочинил про русского папу, про убитого погромщиками деда. И про Марусичку сочинит, если даст бог, и про смещенного Савицкого в алых рейтузах, и про лошадей: Степана, Мишу, Братишку, Старуху. Лошадь – это все. Лошадь – спаситель. Лошадь – мать, отец. В Одессе такое не могло и присниться. Что отец? Неужели все отобрали? Надо подумать о доме. Надо описать людей, воздух. Надо описать чувство всадника: усталость, конь не идет, ехать далеко, сил нет, выжженная степь, одиночество, никто не поможет, версты бесконечно.

К Демидовке подъехали перед вечером. Поляков выбили отсюда в полдень, с налету. Местечко сильно пострадало – дымились дома, разрушения повсюду. Евреи, как черные пеньки, торчали в степи: возвращаться боязно, лучше дать победителям вволю напраздно-

ваться победой, да и поляки могут снова нагряться до темноты. Впрочем, кое-кто и остался в уцелевших домах.

Санитарная тачанка Иуды Гросмана, покачиваясь на рессорах, ходко шла. Ездовой Трофим Рохля, здоровенный малый лет восемнадцати, рассказывал, не оглядываясь на Иуду, как юнкера порубали его родителей и как он потом собирал остатки имущества по всей станице.

– Собрал, все обратно снес и пошел записался в большевики, – заключил Трофим и, переводя лошадей на рысь, шевельнул вожжами.

Главной страстью и любовью в жизни Трофима Рохли были лошади. Человека, не умеющего обращаться с лошадьми и не знающего в них толк, он презирал бездонно и по молодым годам и свойствам характера опасного своего презрения не скрывал. Неотрывно от главной, первой, шли страсти вторая и третья: девки и тряпки. Трофим разгуливал в шароварах, сшитых из архиерейской мантии, в украденном из костюмерной бродячего цирка малиновом гусарском ментике с серебряным позументом и в неизвестно как добытой зеленой тирольской шляпчонке с фазаньим пером за красной муаровой лентой, обернутой вокруг тульи. Что же до женщин, то тут Трофим разницы не делал: все были хороши.

Чуя впереди развлеченья и испытывая поющий жизненный прилив, Трофим снова погнался. Вытянув добрые головы, лошади шли по стрелке. В Демидовку вкатили с шиком: Трофим гикал и свистал так, что уцелевшие жители в своих домах втягивали головы в плечи. Можно было подумать, что в задке тачанки шерится на свет божий секретный чудо-пулемет, а не сидит там Иуда Гросман на фельдшерском сундучке.

Остановились в кирпичном доме. Дом был полон женщин: вдовствующая хозяйка – зубной врач Дора Ароновна с томиком Арцыбашева на полных коленях, трое ее подрастающих дочерей в белых чулках, родственницы, сирота-гимназистка из Ровно, соседки и приживалки. Родители Доры Ароновны – он в ермолке, она в парике – держались кучкой в сторонке, глядели с тупым покорным безразличием. Кривой еврей в лапсердаке, в галошах на босу ногу бегал без остановки по просторной комнате, повторяя на разные лады одно и то же: вот сейчас приедет из Хорупани кузнец Хаим, и бондарь Мендель приедет вместе с ним, и Пиня с Лейбом Криво-ручко. На стреляющего глазами из-под намащенного чуба Трофима новости о прибывающем силаче Хаиме с приятелями не производили никакого действия: порхая от сестер в белых чулках к ровенской сироте и унылым родственницам, Трофим слизывал слюну с красных губ и вел разговор о станичной коммуне, о порубанных родителях и историческом трудящемся Иисусе Христе. А у сидевшего за дубовым семейным столом Иуды робкое вранье женского заступника в галошах вызывало жалостливую усмешку: он не знал Трофима Рохлю, этот кривой бегающий еврей, он не знал, что, явись сюда сейчас начдив об руку с Ильей Муромцем и Алешей Поповичем в придачу, – и те не справились бы оттереть станичника от женского общества.

Да никакой Мендель и не ехал, а загромычала под окнами подвода и появилась невестка кривого еврея – уверенная в движеньях, лет тридцати, по имени Бейла. Трофим и к ней подлетел в своем гусарском ментике.

– Здравия желаем! – сказал Трофим, брызжа слюной. – Как непобедимый красный казак Трофим Рохля прошу к нашему шалашу. Мы туточки как раз гуторим про Иисуса Христа – трудящего рыбака и плотника, что пошел в тятю по линии рукодельного занятия.

Услышав имя назарянина, евреи понурились. Родители Доры Ароновны опустили лица в ладони и затрясли головами. Бейла выпучила на Трофима глаза, а потом улыбнулась с осторожностью, но не отступила.

– Глупости вы говорите, – ровно сказала Дора Ароновна, веером пропуская страницы Арцыбашева между пальцами. – Никаким он не был рыбаком.

– Кто? – не сводя глаз с Бейлы, кратко спросил Трофим, как будто гитарная струна лопнула в тишине собрания. – Кто?! – проревел он и с маху саданул себя кулаком по выставленной раскрытой ладони. – Спаситель наш Иисус Христос, что ли, был буржуй? Да вы кто такие тут

собрались, жидье пархатое! Да вы про учителя нашего Иисуса Христа не можете рот открыть! Да я, мат-ть вашу через колену в три погибели, через свиные уши, скрозь ерихоновскую трубу...

Дора Ароновна, вцепившись в книжный томик, глядела на Иуду с мольбой.

– Не ори, Трофим! – примирительно сказал Иуда. – Чего орешь? Мы как русские люди должны понимать положение угнетенного белополяком еврейского населения.

– Да я, Лютов, чего? – беспечально принял большевистскую критику Трофим Рохля и сбил свою тирольскую шляпку на затылок. – Я ж не рубаю, я просто так говорю.

Теперь Дора Ароновна глядела на Иуду Гросмана с изумлением и отчасти презрительно: принадлежность его к русским людям оставляла у нее мучительные сомнения.

Народу тем временем прибыло. Нежданно возник, как из спустившегося с высоких небес смерча, племянник хозяйки – молодой нервный человек, подвижный и тощий, скверно выговаривающий русские слова, в потертом и кое-где дырявом кафтане ешиве-бухер. Сбиваясь и кривя лицо, ешиботник прямо с порога кинулся в гущу диспута; каленые стрелы его аргументов летели по кривой и были нацелены в Трофима Рохлю.

– Свиноеды и кроликоеды, – на всякий случай повернув голову к державшимся особняком престарелым родителям Доры Ароновны, но скашивая взгляд на Трофима, нанес пробный удар ешиботник, – противны Создателю и ужасны! Они хуже козлов и баранов. А что есть русское мясо? Сказано: свиное мясо есть русское мясо, а кроль есть соблазн с чесноком и черносливом.

От такого сообщения Трофим Рохля сделался скучен, а престарелые родители, не разобравшись в тонкостях ешиботниковой тактики, загомонили на идиш и замахали руками в знак полного согласия: да, куда хуже, да, в чесночной подливке.

Иуда сидел за столом, подперев круглую голову кулаком. Крепкий, основательный стол, краеугольный камень человеческого жилья, – делали ведь когда-то такие: на десятилетия, на всю жизнь. Стол посреди комнаты, темный застекленный шкаф с праздничной посудой и какими-то памятными безделушками, картина «Сон Иакова» в старинной раме: праотец, разметавшись, беспокойно спит у подножья лестницы, ангелы размахивают крыльями, ужасная смертная тьма переливается без полутонов в горний свет вечной жизни. Иуде вдруг захотелось есть – русское мясо, кролика, рыбу-фиш и штрудель с изюмом. Чуть прищурившись, он следил за своим ездовым: от Трофима Рохли многого можно было ждать, а Иуде почему-то не хотелось производить губительных разрушений в этой живописной семье. Каких разрушений? Да очень простых: Трофим мог зарубить ешиботника, изнасиловать Бейлу или Дору Ароновну с круглыми коленями. Кого из них? Но Иуда, прикидывая так и эдак, не мог решить, кого бы из них он сам предпочел.

– А я и говядину очень даже уважаю, – переходя с богословской темы на гастрономическую, миролюбиво заметил Трофим и схватил Бейлу за руку повыше локтя. – Что это меня качает?.. Эй, хозяйка, накрывай, что ли, на стол, а то жрать хочется! И вино ставь, вино!

Ешиботник налетел как шмель и остановился против Трофима.

– Перун – тьфу! – с вызовом сказал ешиботник и упер руки в боки.

– Кто? – удивился Трофим. – Какой Перун?

– Вы язычник, – сказал ешиботник и сокрушенно покачал головой. – Многобожие – это гибель.

– Не, – твердо возразил Трофим. – Я большевик.

– Большевик или не большевик – это еще вопрос, – усомнился ешиботник.

– А ты чего вяжешься? – сурово поглядел Трофим Рохля. – Какой тут еще вопрос... Ты иди картошку копай, ведро бери и иди. А бабы вон сварят.

– Он не пойдет! – высоким голосом сказала Дора Ароновна из своего кресла. – Сегодня суббота, он не пойдет. И никто тут ничего не будет варить. Завтра Девятое Аба, к вашему сведению! – Она взглянула на Иуду, проверяя, как на него подействует это сообщение.

Иуда снял очки, протер машинально, без нужды. Ну конечно, как же это он забыл! Девятое Аба – день разрушения Храма, день падения Иерусалима. Над золоченой кровлей рыжее пламя в черной дымной опушке, под короткими мечами римских легионеров защитники города и чести ложатся на раскаленные камни внутреннего двора святилища. Горит, братья, горит! Впереди позор, изгнание, местечко Демидовка.

– Это по-вашему завтра девятое или пусть будет даже десятое, – поправляя чуб, сказал Трофим. – А нам жрать надо. Давай, дед, – он оборотился к отцу Доры Ароновны, – бери свою команду и иди копай. Ты у нас будешь за командира.

– Мы не будем копать. – Ешиботник подошел к Трофиму уже вплотную и трижды повел у него перед носом хрупким указательным пальцем. – Ни-ни-ни!

– У них суббота, Трофим, – подал голос Иуда Гросман. – Им по субботам работать никак нельзя.

– Бог работать велел! – закричал Трофим и ударил ногою в пол. – Это как так получается: всем работать, а им – отдыхать? Эт-та так не пойдет! Нам, значит, работать, а им брюхи чесать? А ну, дед, вставай и бабку с собой бери! Пошел! Все пошли! – Он выхватил из-за голенища плетку и несколько раз, со свистом рассек перед собою воздух.

– Пост у них завтра, пост, – сказал Иуда под неотрывным, презрительным взглядом Доры Ароновны. – Святой день. Воды – и то не пьют, нельзя им.

– Да пускай хоть зальются! – бешенствуя, проговорил Трофим. – Мне что надо – вынь да положь: харч, бабу. Вон, говорил комиссар: евреи эти – отсталое население, они против нас идут. – Он мягко, как на рессорах, подошел к столу и с маху перетянул столешницу плетью. – Ну, пошли! Вставай, дед!

Старик, отец хозяйки, закрыл лицо руками, как от яркого света, и сидел неподвижно. Никто не двинулся, только еврей в галошах раскачивался, как на молитве.

– Он всех убьет, – сказал ешиботник на идиш. – Ради спасения души надо идти, и Бог нас простит. – И пошел к двери.

За ним струйкой потянулись домочадцы. Казалось, ешиботник своими словами загородку какую-то отодвинул, снял преграду – и вот они пошли: уныло, покорно. Дора Ароновна осталась.

– А вы как думаете, – с вызовом глядя на Иуду, спросила Дора Ароновна, – простит их Бог?

– Не понимаю, о чем вы, – сказал Иуда.

– Мне показалось, что вы знаете языки, – сказала Дора Ароновна. – И идиш – тоже.

– Я не лингвист, я писатель, – сказал тогда Иуда Гросман. – Вот вы читаете Арцыбашева...

– Это ни при чем, – придвигаясь к столу, сказала Дора Ароновна. – Зачем вы устроили все это: ублюдок в шляпе, рыть картошку? Зачем, писатель?

– Вы отважная женщина, – с удовольствием, подумав, сказал Иуда. – Но вы все равно не поймете... Жил-был когда-то еврей по имени Иосиф Флавий – слышали про такого?

– Я читала Флавия, – сказала Дора Ароновна. – В Варшаве, в университете.

– Флавий перешел к римлянам, – продолжал Иуда, – чтобы посмотреть, что будет, и описать Иудейскую войну. И он это сделал, к счастью... А незадолго до этого он мечтал спасти свой народ, желал военной славы. Для многих он и сегодня предатель, хуже козла и барана. И вот вопрос: почему он все это сделал?

– Ну же? – спросила Дора Ароновна.

– Потому что он был писатель, – сказал Иуда. – Писателю можно, ему все можно – во всяком случае, куда больше, чем другим. Его глаза, знаете ли, никак не наполнятся зрением, уши – слушанием. Вот и я тоже смотрю на петуха Трофима и на ваш курятник.

– А если он начнет резать, этот ваш приятель, насиловать – вы тоже будете смотреть? – настойчиво спросила Дора Ароновна. – Это же так интересно потом описать!

– Вот с этим осторожней, – улыбнулся Иуда. – У него сифилис, это факт.

За окном затопали капли по листьям яблонь. Пролился дождь. На соседском огороде евреи ползали по грядкам, выкапывая картофельные клубни из рыхлой черной земли. Трофим Рохля стоял в сторонке, у ног его находился разъявленный мешок, уже на треть наполненный картошкой, перемазанной глинистой землей. Евреи работали молча, не переговаривались между собою.

– Бейла! – позвал Трофим. – Иди сюда!

Женщина разогнулась, поправила волосы и переступила через грядку.

– Ты плясать можешь? – с интересом спросил Трофим. – Хоть по-вашему?

– Могу, – сказала Бейла, глядя в сторону.

– Во! – обрадовался Трофим Рохля. – А Лютов говорит – не можете вы. Ученый – а не знает! Ну, иди в дом, ставь котел. Есть котел-то? И мясо достань у меня из мешка, там увидишь.

С чавканьем выдирая ноги из намочшей земли, Бейла поплелась к дому.

Удобно сидя за столом, Иуда вполуха слушал хозяйку. Имена писателей – русских и европейских – доносились до него, искореженные цитаты, строки из басен Крылова и афоризмы Ларошфуко. Бейлис плелся за Дрейфусом, Короленко дышал в затылок Золя... Согласно покачивая головой, Иуда думал о том, что нарушь он, пытливый художник, синайские заповеди – все вместе и каждую в отдельности, – цивилизация не разрушится, а только упрочится и укрепится. Все на свете постигается от противного: добро от зла, любовь от ненависти, жизнь от смерти. Изображение убийства предостерегает от дальнейшего кровопролития. Да, это так! Описание насилия, совершенного сифилитиком Трофимом Рохлей, приведет в ужас зубных врачей и заставит поостеречься девиц, верящих почему-то в неизменный перевес добра над злом и в случайные чудеса.

Бейла вошла, за ней обозначился на дощатом полу пунктир мокрых следов. На прямых ногах нагнувшись над мешком Рохли, она вытащила оттуда тяжелый шмат мяса, завернутый в ситцевую тряпку.

– Это русское мясо, – тупо глядя на Дору Ароновну, сказала Бейла. – Он велит варить в вашем котле. Ой, грех!

– Делай, что велит, – тусклым голосом сказала хозяйка. – Бог простит нас...

Держа свешивающийся пласт свинины на вытянутых руках, подальше от себя, Бейла пошла в кухню. Иуда глядел с интересом, переводя ощупывающий мягкий взгляд с Бейлы на Дору Ароновну.

– Дай Бог пережить этот кошмар, – сказала Дора Ароновна. – Все это, – она повела рукой, охватывая комнату, дом, дождь за стенами дома, – вас, других. Пережить – и уехать.

– Куда? – спросил Иуда.

– Как можно дальше, – сказала Дора Ароновна. – Все равно куда. Может, в Палестину.

– Палестина не годится даже для поклонниц Арцыбашева, – усмехнулся Иуда. – Париж, Брюссель – вот это другое дело. Европа... Впрочем, вас нигде не ждут, как я понимаю.

Стукнула дверь с воли, в комнату молча и медленно, как водоросли с водотоком, потянулись евреи – вымокшие, облепленные огородной грязью. Один только Трофим с мешком на плече был бодр, деятелен и в прекрасном настроении.

– Эй, Бейла! – крикнул Трофим в кухню. – Ты где? Тут тебе подмога, картошку чистить! А ну пошли! – и, распыленными руками подгребая вымокших, стал подталкивать их к кухонной двери.

Евреи загомонили испуганно и возмущенно.

– Шабес! – сдавленным голосом воскликнул ешиботник, и евреи повторили сбивчивым хором:

– Шабес! Шабес!

– А ну! – с игривой угрозой гаркнул Трофим и ладонью огрел ешиботника по узкой, как бы из одних упрямых костей составленной спине. – Пошли, кому говорю!

Евреи, невнятно бормоча, гуськом потащились в кухню.

– Нация несознательная, – оборотясь к Иуде, сказал Трофим Рохля. – Дурьи головы: набьются в поварню, как в парную... Бейла! Слышь, Бейла!

Бейла послушно вышла из кухни на оклик. Руки ее были мокры, красны.

– Пошли, Бейла, – наступая на женщину и прижимая ее к стене, сказал Трофим. – Пошли, побалуемся по-хорошему...

– Я кричать буду, – визгливо прошептала Бейла. – Отпустите меня, пан!

– Не пан я, – трясая головой, закричал Трофим страшным голосом, – а красный казак! Запомни, лахудра! А тех панов я рубая до самого корня в конном строю! Ты под паном полежи, а тогда уже давай понятие! Ты коня не знаешь, забей пасть коровьей лепешкой и потом уже разговаривай! Да я за мамку-покойницу всех вас, живососов, выведу в расход.

Высказав накипевшее, Трофим поправил ментик на жестких плечах и успокоился. Евреи, окаменев каждый на своем месте, стояли совершенно недвижно и молча.

Римлянин, думал Иуда Гросман про Трофима, надо записать. Римский легионер. Девятое Аба. Демидовка догорает, как Храм. Сейчас начнут прятать Бейлу от легионера – на чердак, в подпол. Бейла, хорошая еврейка. Круглые колени Доры Ароновны. Этот, в галошах, с лицом лжепророка – записать. Описать пласт русского мяса, людей, надутый дождливым ветром черный парус ночи.

Трофим, высказавшись, озирался и тащил Бейлу за руку.

– Есть надо, – громко сказал Иуда, – мы с дороги. Долго там еще?

Выпустив Бейлу, Трофим шагнул в кухню.

– Горох кидай, – указал Трофим. – Соль-то положили? А то у меня есть, соль-то.

Стрельба посыпалась то ли в поле, то ли на окраине местечка.

Кто-то проскакал за окнами, крича отчаянно и звонко:

– По коням! Поляки! По коням!

Трофим живо выкатился из кухни, в руках он нес мясо, с которого густо капала юшка. Подойдя к столу, он сбросил горячий шмат на скатерть и движениями быстрыми и отчетливыми завернул его, как дитя в пеленку.

– Пошли, Лютов, – сказал он Иуде. – Ехать надо.

Они быстро вышли, не попрощавшись.

Поляки простояли в Демидовке около суток, а потом ушли, увозя жалкие трофеи.

Немцы пришли сюда двадцать один год спустя, в сорок первом, в последний день июня, в полдень. Стояла влажная жара, собирался дождь. Доре Ароновне видно было в окно ее зубо-врачебного кабинета, как по улице, раздувая шлейф желтой пыли, грохоча, проехал военный патруль на мотоцикле с коляской: трое солдат в сером, в нахлобученных на лоб железных шлемах. Перед тем, что сидел в коляске, был установлен тупорылый короткоствольный пулемет, и Дора Ароновна с тоской в сердце вспомнила осень двадцатого: поляки и казаки, белые, красные и зеленые, и пулеметы в задках мокрых от дождя тачанок.

Немцы не были похожи на тех давнишних бандитов – они были трезвы, не ломались в дома, не плясали, не пели и не свистали, запихнув в рот грязные пальцы. Немцы – настоящие европейцы, а не какие-то татары или мордва. Кроме того, у немцев тоже иногда болят зубы, и это внушает надежду.

Вечером, когда стемнело, в дверь каменного дома Доры Ароновны постучали – требовательно, но не грозно. Не били кулаками, не колотили ногами – стучали крепкой ладонью внятно и отчетливо: тук, тук, тук. Дора Ароновна пошла открывать.

На пороге она увидела немца лет тридцати, выше среднего роста, с приятным открытым лицом. Стучал в дверь не он – рядом стоял коренастый крепыш, тоже в военной форме, как видно, переводчик. Без разговоров оттеснив Дору Ароновну плечом, переводчик открыл немцу дорогу в дом, и тот вошел. В гостиной, остановившись и засунув большие пальцы рук за ремень, немец оглядел комнату: стол со стульями, застекленные дубовые шкафы с посудой и безделушками, шторы на окнах, белый с желтым хохлом и кривым черным носом попугай в золоченой клетке. Потом подошел к картине на стене – Иаков, беспокойно спящий у подножья хрустальной лестницы, – всмотрелся, оценивающе щурясь, в изображение и повернулся к Доре Ароновне.

– Сны Якоба? – спросил немец и взглянул на переводчика. – Переведите!

– Сны Якова? – повторил переводчик по-русски.

– Я говорю по-немецки, – сказала Дора Ароновна. – Да, это верно: Иаков видит сон.

– Сны, сны, сны! – прохаживаясь по комнате, сказал немец. – Золотые сны! – Его, как видно, ничуть не растрогало сообщение Доры Ароновны о том, что она говорит по-немецки. С тем же успехом по-немецки мог бы объясняться попугай. Это было бы удивительно, но не более того. – Ваш Яков видит сны в очень хорошей раме, дорогой раме.

– Да, – сказала Дора Ароновна тоном польщенной хозяйки. – Это старинная рама. Венецианской работы, кажется.

– Что вы тут стоите, Семен? – без раздраженья обратился немец к переводчику. – Я справлюсь. Можете идти. – И взглядом сделавшихся вдруг колкими и жесткими голубоватых глаз словно бы взашей вытолкнул Семена из комнаты. – Я обер-лейтенант Гейнц Лембке. Гейнц.

– Да, хорошо, – сказала Дора Ароновна. – Златопольская... Садитесь, пожалуйста.

Лембке, чуть помешкав, сел на стул с высокой плетеной спинкой, и Дора Ароновна вдруг отчетливо вспомнила, что именно на этом месте сидел в прошлую войну тот начитанный еврей, выдававший себя за гоя. Он сидел и щурился под своими очками, а его звероподобный приятель орал и командовал. Это было под Девятое Аба.

– Вот забавно, – сказала Дора Ароновна, улыбаясь старому воспоминанию.

– Что именно? – вежливо спросил Лембке.

– Так, ничего... – сказала Дора Ароновна. – Вспомнилось что-то.

– Оставим это, – без раздраженья предложил Лембке. – У вас хороший дом, достаточно чистый. Мы разместим здесь нашу канцелярию. Переезжайте к родственникам к завтрашнему утру.

– Как к родственникам? – спросила Дора Ароновна. – У меня здесь кабинет!

– Очень хорошо, – сказал Лембке. – Вы здесь одна живете? Есть муж, дети?

– Я вдова, – сказала Дора Ароновна. – Дети разъехались давно. Тут домработница живет, у нее комната, ну и племянники приходят, ночуют гости.

– Вот и переезжайте, – сказал Лембке. – К дядьям, к племянникам. Куда хотите. А мы тут разместим канцелярию. Вы меня поняли?

– Да, но... – сказала Дора Ароновна. – Но почему же переезжать? Дом большой.

– Я вас не арестовываю, – терпеливо объяснил Лембке. – Это не входит в мои обязанности. Я вам разъясняю необходимость. Вы ведь еврейка?

– Да, – сказала Дора Ароновна. – Еврейка.

– Ну вот видите, – сказал Лембке. – Собирайтесь и переезжайте. Можете взять с собой все необходимое из личных вещей. Но не мебель.

– А как же работа? – сказала Дора Ароновна. – Тут ведь у меня кабинет.

– Да, я знаю, вы зубной врач, – сказал Лембке. – Это замечательно. Моя тетка тоже зубной врач, она живет в Аахене, есть такой город у нас в Германии... Я как раз хотел потолковать с вами по этому поводу.

Все, кажется, вставало на свои места. Как часто во время войны и смуты неодолимые, казалось бы, сложности, а то и сама жизнь со смертью зависят от чьих-то случайных желаний, меланхолического настроения, насморка или зубной боли.

– Вы хотите подлечить зубы? – любезно спросила Дора Ароновна. – Что вас тревожит?

– Нет-нет! – поднося руку к подбородку, поспешно возразил Лембке. – У меня великолепные зубы, я ни на что не жалуясь. Дело в том, видите ли, что моя тетка в Аахене рассказывала мне, что здесь, на Востоке, люди белым фарфоровым зубам предпочитают византийские.

– Как византийские? – не поняла Дора Ароновна.

– Ну, варварские, – любезно пояснил Лембке. – Блестящие. Из чистого золота. Вот у вас во рту я вижу несколько таких зубов.

– А, да, – несколько растерянно вымолвила Дора Ароновна. – Я как-то никогда над этим не задумывалась. Варварские...

– О да! – подхватил Лембке. – Поверьте мне, это так интересно. Моя тетя говорила, что иногда встречаются и железные зубы. Человек с железными зубами – это просто восхитительно.

– Это не железные, – с чувством мимолетной обиды к европейцу возразила Дора Ароновна. – Это сплав такой специальный, как нержавеющей сталь.

– Человек с зубами из нержавеющей стали – это еще лучше, – сказал Лембке. – Как кастрюля.

– Это тут ни при чем, – сердито сказала Дора Ароновна. – Просто если у кого-нибудь не хватает денег на золотые...

– Вот-вот-вот! – оживился Лембке. – Как раз это меня интересует. Те, у которых не хватает денег, пусть себе носят стальные или хоть каменные. Но состоятельные граждане приходят к вам и заказывают у вас золотые зубы или даже целые челюсти, не так ли?

– Ну да, – сказала Дора Ароновна. – В общем, так. Хотя я делаю и простые.

– Простые меня не интересуют! – отрезал Лембке.

– Но зачем вам? – удивилась Дора Ароновна. – У вас же, вы говорите, делают только белые, и ваша тетя...

– Оставьте в покое мою тетю, – терпеливо сказал Лембке. – Меня интересуют не сами зубы, а материал, из которого они сделаны. У вас есть этот материал?

– Золото? – зачем-то уточнила Дора Ароновна.

– Да, золото, – кивнул Лембке. – Конечно. Вы понимаете?

– У меня нет золота, – подумав, сказала Дора Ароновна. – То есть раньше было, а теперь нет.

– Ну конечно, – сказал Лембке и, вздохнув, снова оглядел комнату – шкафы, попугая, хмурого Иакова в венецианской раме. – Конечно, у вас было золото, иначе из чего бы вы делали ваши зубы? Самое главное, что оно и сейчас у вас есть, лежит где-нибудь в укромном местечке. Дайте мне его!

– Как... – совсем уже потерянно выдавила из себя Дора Ароновна.

– Дайте! – мягко повторил Лембке. – Оно же все равно вам теперь не понадобится. У вас здесь нет близких родственников, а если б и были, разделили бы с вами вашу участь. Спустя много лет совершенно чужой человек случайно найдет ваш клад и даже не будет знать, кого ему благодарить. А я – знаю! Дайте мне ваше золото, и вы сделаете доброе дело.

Дора Ароновна молчала, глядя мимо Гейнца Лембке на стену – на спящего Иакова и его лестницу, уводящую в небеса. На хрустальных ступенях стояли розовые ангелы с расплавленными голубиными крыльями за спиной, разноцветные птицы с длинными драгоценными хвостами сидели на золотых перилах, и порхали красивые бабочки с бриллиантовыми усиками, и висели стрекозы с сапфировыми глазами – Дора Ароновна много лет назад, девочкой, часами рассматривала их и разговаривала с ними, с каждой в отдельности, и давала им имена: вот эту, с малахитовым брюшком, она звала Ривкой, а ту, кажется, Бейлой. Спящего на земле, с камнем

под головой Иакова окружала звездная ночь, а в небесах сияло сердце серебряного дня, там, как видно, ночь вообще не наступала и всегда было светло. Вот ведь удивительно – на одной картинке помещались вместе и полдень и полночь, и это было так естественно и приятно. И хотя в жизни так не могло случиться – полдень вместе с полночью, – совсем не хотелось с сомнением прищуриваться, открывать рот с варварскими зубами и требовательно спрашивать: «Почему?» Да потому! Потому что так устроено, все так устроил Главный Устроитель – свет и тьму, сон Иакова, бабочек и стрекоз, и Гейнца Лембке в местечке Демидовка.

– Вы хотите сказать, что меня убьют? – спросила Дора Ароновна. – И всех?

– Вас депортируют, – пожал плечами Лембке. – У вас все отберут и отправят вас в лагерь или в гетто. Я отношусь к вам по-человечески, вы же видите. Теперь, когда вы знаете, ваша семья – это я! Зачем вам имущество? Дайте мне, дайте, и вы почувствуете облегчение. Когда человек делает доброе дело, у него становится легче на душе.

– И вы тогда меня спасете? – наклонясь низко над столом и понизив голос, спросила Дора Ароновна.

– Поймите и вы меня тоже, – развел руками Лембке. – Я предупредил вас, и это, считайте, много, это очень много. Другие ведь не знают, а вы – знаете. Так спасайтесь! Принесите мне то, о чем я говорю, и спасайтесь. Может быть, я сумею подбросить вас до леса на моей машине, это будет честно.

Дора Ароновна вдруг засуетилась, засобиравшись.

– Хорошо, хорошо, – сказала Дора Ароновна. – Лес, вы говорите... Можно все-таки завтра утром, часов в пять? Надо попугая кому-нибудь отдать, в хорошие руки... Я принесу, принесу. Я же сказала. Кольцо, цепочка. Мамина брошка. Значит, в пять? Нет-нет, я буду готова.

– А эти ваши собственные зубы, – уже от двери озабоченно спросил Лембке, – ну, ваши я имею в виду, те, что во рту? Вы их намертво закрепили или они съемные? Тогда снимите и принесите завтра. Это же бессмыслица: золотые зубы в лесу!

Заперев за обер-лейтенантом, Дора Ароновна прошла в свой кабинет. Лекарства хранились в высоком белом шкафчике. Дора Ароновна открыла дверцу и, просунув руку поглубже, нащупала у самой стенки, за пузырьками, баночками и склянками, стопочку фантиков со снотворным порошком, перетянутых резиновым пояском. Фантики были белые, без надписей, без черепов с костями. Вернувшись в гостиную, Дора Ароновна села за стол и разложила перед собою фантики веером, как карты в пасьянсе.

Дора Ароновна не собиралась ни в лес, ни в гетто. Жизнь пришла к концу, куда более противно и мерзко, чем двадцать лет назад. Тогда тоже было страшно до слабости в коленках и до потемнения в глазах, но тот петушистый разбойник в шляпе ни в какое сравнение не шел с немецким обер-лейтенантом, учившим в школе, должно быть, Гёте наизусть. Жизнь кончилась. Проснуться на рассвете, до пяти, будет куда ужасней, чем не дожить до утра. И вот, ангелы на своих ступеньках стоят навтыяжку, сложив крылья, Иаков мечется во сне и стонет, бабочки и стрекозы замерли вдруг в своем полете, чтобы не мешать свету перелиться в синюю тьму или, наоборот, тьме подняться ввысь и навсегда исчезнуть в серебряном небесном полдне. Может быть, может быть! Это как раз то, что не проходили на медицинском факультете Варшавского университета, и с покойным недолгим мужем, всегда предупредительным и услужливым до бисерного пота на лбу, не случилось поговорить об этом, а ласковых детей по молодости годов свет и тьма занимали лишь порознь.

Напольные часы с маятником проиграли и пробили полночь, к окнам льнула холодная чужая тьма, и так хотелось скорей к свету, к его серебряному позваниванию. Она налила воды в стакан из графина, ссыпала белый порошок из оберток в ладонь, поднесла ладонь ко рту и запила водой из стакана. Потом она медленно обошла комнату, останавливаясь перед каждым достойным того предметом: копенгагенской русалочкой за стеклянной створкой шкафа, немного почему-то раздражавшим своей непробудностью Иаковым, попугаем, которому пред-

стояло осиротеть. Судьба попугая тревожила совесть Доры Ароновны: умная птица не могла существовать без человеческого благорасположенья, она даже не могла себя прокормить.

Обойдя комнату, Дора Ароновна прошла к себе в спальню, прилегла там, не раздеваясь, на кровать и послушно закрыла глаза.

Надоело.

Все надоело Иуде Гросману – грязь и дождь, постоянное недоедание, всеобщее несчастье разрухи, белополяки и красноказаки. Надоели все эти звероподобные всадники, изъясняющиеся словами угловатыми и восхитительными, и суетливые упрямые евреи надоели. И повседневная гибель жизни, и красивые лозунги, бесплотные, как привидение, и пустые, как жестянка из-под монпансье. И ночные выматывающие рейды, и дневной черный сон, и разрушительное безграничье солдатской власти: все можно. Все можно, все нынче дозволено: с «нет» снят крепкозапястной рукою запрет.

Иуде Гросману, писателю, надоела война.

Быть может, тому причиной была усталость. Однообразие взаимоуничтожения почти не оставляло места для целебных озарений души, снимающих усталость. Все обрыдло, дикая новизна ощущений подмокла по краям: не переставая, лил холодный дождь, пропитывая и размывая и материю, и дух. И Одесса под лимонным зонтиком солнца казалась отсюда Иуде желанной невестой, а не обрюзгшей каргой на лавочке.

Нет, не то чтобы глаза Иуды Гросмана наполнились зрением, уши – слушанием. Оставалось там еще место. Однако он все чаще с тревогой, почти с паникой ловил себя на том, что прежде ему незнакомые, поразительные картины и сцены неправдоподобной головорезной жизни проплывают мимо него, не задерживая его внимания, еще недавно впитывавшего, как греческая губка, всякую интересную малость в обстоятельствах куда более пресных. Он и дневник свой забросил, почти его и не открывал и глядел на когда-то праздничную, а теперь обтрепанную и покрывшуюся неряшливыми пятнами тетрадочку с раздражением: он, в сущности, совершил предательство по отношению к дневнику, а значит, и к самому себе, к той части своей души, которая прикоснулась краешком и оттиснулась на линованных страничках. Никто не догадывался об этом предательстве; чтобы хоть немного проветрить совесть, Иуда Гросман сердечно досадовал на свой дневник и, перекладывая на него вину, сердился на тетрадку. Сам вид ее вызывал в нем неприятное смущение, и он прятал глаза.

Дни тащились за днями и составляли Время, отмечаемое смертями и рождениями, но никак уж не минутами или эпохами. Иуде неотступно хотелось сесть за письменный стол в светлой чистой комнате, выпить чаю с лимоном, не спеша вымыть ноги в эмалированном тазике. Обстоятельно описать хотя бы один день: отражение боя за перелеском, ординарцы, отрубленные пальцы Трофима Рохли, бойцы в бархатных фуражках, изнасилования, чубы, революция и сифилис... Но колеса тачанки все крутились и крутились, дождь все падал и сек. Пора было кончать эту войну и садиться за работу. Достаточно накопилось за четыре месяца, более чем достаточно; зарисовки желали стать рассказами. А если казачки для окончательной пролетарской победы решили добежать до Варшавы или хоть до Берлина – это их дело: пусть бегут.

К Хотину – тощему, жалкому местечку под мокрым холмом – Иуда подъехал на рассвете. Накануне вечером на подступах к деревеньке рубились, похоронная команда еще не появлялась тут, да и санитары в темноте поработали кое-как, спустя рукава. По всему голому полю чернели в мутном раннем свете тела трех-четырёх десятков людей. Кричали птицы в близкой рощице. Солнце уже взошло над горизонтом, его сильные лучи проходили в прорехи туч и ударяли в рваный туман, но не рассеивали его, а причудливо растворялись в нем.

На краю поля стояла беременная баба, туго завернутая в синюю широкую шаль с бахромой. Живот беременной кругло выпирал из-под шали, женщина сложила и сплела под ним руки, как будто боялась его уронить. На подъехавшего Иуду она не оглянулась.

– Своих, что ли, ищешь? – сойдя с телеги, спросил Иуда.

– Своих, своих... – сказала баба, глядя в поле. – Мертвые-то все свои, это мы с тобой чужие.

Иуда шагнул вперед и через плечо поглядел на бабу, на ее лицо. Беременной было лет тридцать, может, с небольшим, на крупном белом лице с высокими скулами, над выпуклыми зеленовато-коричневыми, цвета вялого листа глазами темнели широкие в переносице, вытянутые и опущенные к вискам брови.

– Я ж не поляк, – пробормотал Иуда и запнулся, замолчал: сказать здесь и сейчас «я еврей» было бы неуместной нелепостью, сказать «я русак, свой, это нас положили поляки» язык не повернулся. – Какой я тебе чужой?

– Чужой и есть, – повторила беременная, как об известном. – Семья, дитятки, пока под твоей крышей живут – те свои. – Она бережно провела красивой ладонью со сведенными пальцами по крутому бугру живота. – А потом – тю-у!.. Земля-то вон какая большая, а много ли своих? А ты, парень, волк степной: из степи пришел, в степь ускачешь.

Иуде приятно было узнать, что он степной волк; тепло жесткого густого меха прилило к его иззябшему телу. Беременная на краю мертвого поля казалась, однако, тронувшейся умом или блажной.

– Ну, семья – это ясно, – мягко, как с больной, заговорил Иуда. – Общая крыша, общая постель, еда – все общее. Это понятно... Но, в конце-то концов, можно ведь во всем мире все сделать общим, и тогда все будут свои.

Беременная по-прежнему неотрывно и упорно глядела в поле, так что непонятно было, слышит ли она Иуду или нет.

– Нельзя, – сказала беременная.

– Но почему? – спросил Иуда.

– Жалости на всех не хватит, – обернувшись наконец к Иуде, сказала беременная. – Слишком он большой, мир, человеку человека не видать. А как пожалеешь, если не видно ничего? А этих я вижу всех, вот они, – она, выпростав руку из-под шали, указала на мертвых. – Мне их жалко, и матери их труждались зазя, вот за это. – Она снова обвела рукой темные кучки в поле. – А тебя не жалко: ты живой покуда, чужой человек, ты своей дорогой пойдешь, мне нет до тебя никакого дела... Как тебя звать?

– Иуда.

– Иуда... – повторила беременная. – Ну иди тогда.

Он и сам не знал, зачем назвался своим именем, как оно слетело с языка здесь, на украинском поле под Хотинном, на мутном рассвете. Зачем это сумасшедшей брюхатой бабе? И кто для нее, с ее рассуждениями о своих и чужих, о близких и далеких, очкастый Иуда, прикативший на своей тачанке из ночной степи?

– А ты кто такая? – спросил Иуда.

– Иуда на суку удавился, – не ответила баба.

– Один он, что ли, был на земле? – почти крикнул Иуда. – Я-то тут при чем! Ты думай, что говоришь!

– Не шуми, – строго сказала беременная. – Чего шумишь, если тебе все равно?

– А кто тебе говорит, что все равно? – сказал Иуда. – Обидно мне!

– Хорошо, что обидно, – сказала беременная и, не оборачивая к Иуде лица, улыбнулась. – Кто обижается, у того душа еще живая. А Иуд-то этих нынче пруд пруди, бессовестных этих.

– Тут другое, – чуть слышно пробормотал Иуда. – Тут история темная.

– Да никакая не темная, – расслышала беременная. – Когда совести нету у человека, он какую хочешь подлость сделает, кого хочешь на смерть пошлет. Этих вот, – она кивнула в поле, – кто послал? Зачем?

Иуда промолчал. Ему сделалось тревожно, тускло. Кто послал? Революция их послала, а вот зачем – тут дело темное, как с Иудой Искарриотом. Да и какая может быть совесть у революции? Где она – в кулаках?

– У кого зубы острее, тот и прав, – сказала беременная. – Вот беда... А «не убий» для одного Боженьки милосердного хорошо, больше ни для кого. Что ли, не так? Ты небось и сам кровь проливал, вон какой страшный.

– Не проливал, – сказал Иуда. – Но – интересовался.

– То-то и оно, – сказала баба. – Мать-то есть у тебя? Живая?

– Ну есть, – сказал Иуда. – А что?

– Езжай до дому, – сказала беременная. – Нельзя тебе здесь больше.

Свет был по-прежнему сер и влажен, и огненный пузырь солнца, покрытый нежной золотистой шерсткой, имел расплывчатые очертания. Иуда вдруг услышал то ли приглушенный свист, то ли шелест и быстро обернулся, благодарно ожидая увидеть светлого ангела с тонким скорбным лицом, с сизыми крыльями за покатыми мальчишескими плечами; но никто не обнаружился в поле его зрения. Внимательно оглядев блекло светящееся пространство, Иуда Гросман вздохнул и сплюнул себе под ноги.

– Совесть – это что? – спросил Иуда.

– Любовь, – сказала беременная.

Скользя по сочной грязи, Иуда шагнул к женщине и, привстав на носки, осторожно коснулся губами ее щеки. Потом, горбясь, пошел к своим лошадям.

Откуда она взялась, эта Ленка, в полевом лазарете, Иуда Гросман толком не знал. Да он и сам попал сюда вполне случайно, в соответствии с расположением заоблачных звезд в тот дождливый, ветреный и свежий вечер: ехал мимо сидящего в грязи местечка Жабокрики и завернул на огонек в поисках миски супа и сухого, теплого угла. Голод донимал его со вчерашнего вечера, чувство голода было вначале тяжким, затем оскорбительным. Абсолютное и безоговорочное отсутствие пищи бросало тень на его человеческое достоинство. Как так? Невесть уже когда обремененные разумом божьи твари, сидя в своих чисто выметенных каменных халупах, у вечернего костерка, жевали лепешку, печеный лук и пироги с финиками, а он, студент и освободитель пролетариата, рыскает по степи, как неприкаянный волк, желудок его пуст, а мысли скорбны. Нужно было прожить тысячелетия, увидеть единого Бога, застроить землю Гошен, написать «нет ничего нового под солнцем», поглядеть на «Охотников на снегу» Брейгеля и прочитать Мопассана в оригинале – для того, чтобы здесь, у местечка Жабокрики, придти к такому оскорбительно-тяжкому состоянию. Огонек госпитальной палатки расплывчато мерцал в сердце дождя, в темной степи – и Иуда повернул к нему свою тачанку.

В палатке, заваленной теми, кому не повезло, правила санитарка Ленка.

– Лютов я, – сказал Иуда, войдя. – Пока здоров, но еще немного, и тогда уже не ручаюсь.

Ленка была белой кожи, с черными, отвесно падавшими ниже плеч волосами, и каждый волосок падал сам по себе, отдельно от других. Сильные волосы обегали узкое лицо с детским подбородком и распутными нежными губами, а маленькие уши проглядывали сквозь черную зыбкую завесу. Темно-голубые, почти синие глаза, широко расставленные, пытливо глядели на Иуду, отряхивавшего воду с плаща.

– Это тебя, что ли, прислали? – спросила Ленка. – Я тебя знаю: ты раньше в газету писал.

– Никто меня не присылал, – сказал Иуда. – Я ехал, ехал, потом гляжу – огонек. Да и что за разница?

– А то и разница, – беспечно сказала Ленка, – что санитаров обещали прислать. Видишь, что тут делается? Всё полно, а я одна.

– Уже вдвоем, – снимая плащ, сказал Иуда и рукой махнул, как бы отгоняя Ленкины сомнения на этот счет. – Я санитар, санитар... Дашь человеку поесть что-нибудь? А то я со вчера не жрамши.

Розовые губы над детским подбородком пришли в движение.

– Всем давать, – внятно проговорила Ленка, – знаешь, что тогда будет? Вон щи в углу, во фляге, теплые еще.

Иуда слышал об этой Ленке, многие о ней слышали. Это она жила при начдиве-шесть до самого его крушения, и начдив берег ее. Да и сам Буденный, говоря, наезжая к Савицкому, мимо синеглазой не проходил, не говоря уже о московских гостях с нашивками. Теперь, стало быть, она здесь, в лазарете, среди ночного поля. Она и Иуда Гросман, писатель.

Что было, то прошло. Тут на горизонте не Одесса, а Жабокрики. Буденный сюда не заглянет. Да и что Буденный? Одни усы, хоть чайник на них вешай. В конях он понимает, больше ни в чем. Ему чай из блюда гонять с Трофимом Рохлей, а не крылом чертить вокруг этой Ленки, этой Суламифи в яблоневом саду. Конскую душу знать – это важно, но и в душу женщины надо уметь заглянуть поглубже, и такое двуединство даст право на высокое место под солнцем. А командарм если и заглядывает куда со знанием дела, так это в бутылку.

– Командарм тут, случайно, не проезжал? – как бы ненароком спросил Иуда и увидел, что ошибся, не надо было спрашивать.

Ленка презрительно уперлась в него своими синими камушками.

– Командарм на передовой, – сказала Ленка с вызовом. – Он по тылам не шляется.

– Он смелый? – неизвестно зачем подзуживая, спросил Иуда.

– Он герой, – сказала Ленка и отвернулась.

«Я тоже герой, – подумал Иуда Гросман, – если ради того, чтобы смотреть на тебя, хлебаю щи в этой тифозной палатке. Отсюда бежать надо, не оглядываясь, а я хлебаю. Значит, я герой».

– Тут у тебя тифозные тоже есть? – утерев рот тыльной стороной ладони, спросил Иуда.

– Куда ж им деться?... – сказала Ленка, как об обычном. – Вон того выносить уже надо, а этот кончается. Санитаров-то обещали прислать на ночь, а где он?

– Здесь я, – сказал Иуда и поднялся с брезентового сиденья. – Можешь на меня положить. А хочешь, я усы отращу?

Ленка поглядела на Иуду, на его очки, на его улыбку – и, словно удерживая смех, прижала ладошки к щекам и прыснула. У нее был хороший характер, хороший и легкий.

– А не боишься? – отсмеявшись, спросила Ленка. – Ведь сыпняк...

– Боюсь, – сказал Иуда. – Но мужчина платить должен, чтоб с тобой рядом стоять. Кто не платит – тот вор, фармазон. Вот я и буду платить – страхом, больше у меня ничего нет.

Минуту назад Иуда Гросман и сам не знал, останется он здесь или, схватив плащ в охапку, сядет побыстрей в свою тачанку и погонит куда глаза глядят, подальше отсюда. Теперь знал: останется, никуда не поедет. Да что там останется! Теперь он готов был, загнав свой страх в мыски кавалерийских сапог, скакать рядом с усатым Буденным ноздря в ноздю или даже на полкорпуса впереди, в самую гущу рубки. Он и не на такое сейчас был совершенно искренне готов вот за это лукавое «чтоб с тобой рядом стоять». «Рядом стоять» имело ту же прерывистую и волнующе двусмысленную очерченность, как «положись на меня» или «уже вдвоем». Слова волшебным образом значили куда больше, чем сочетанья букв или даже звуков, поэтому они и носились когда-то сладкой розовой пеной над водами.

«Буденный? Тем лучше... А я Иуда Лютов; будем знакомы. Вы, командарм, вырастаете из собственных сапог, как бузина из козьего дерьма, а я стою тут, ночью, на обовшивевшей земле, я – дозорная башня с кошачьими глазами бойниц, и мокрые тучи ползут по моим плечам. Я дам вам фору, командарм, – два шара, и вы проиграете: женщина пойдет за мной. Я должен

победить – я, четырехглазый еврей с сердцем пророков и головой апостолов. Я должен доказать себе, вам и всем, что существую – и только чистый выигрыш даст мне эту уверенность. Да ведь и женщина стоит того, а, командарм?»

– Ты красивая, – сказал Иуда. – Женщине вредно быть такой красивой.

Раненые и больные, лежавшие вповалку на заскорузлых дерюгах, вскрикивали и стонали. Едва ли кто-нибудь из них внятно слышал Иуду, да это его и не беспокоило: те, кому не повезло на войне, лежали здесь, на земле, как бурелом, и вывороченные изломанные корневища ног торчали. Не стоило выводить отсюда женщину, чтобы под дождем говорить ей о том, что она красива, и обнимать ее, переваливаясь в черной грязи. Какое дело ему, Иуде Гросману, до того, что вообразит о настойчивой жизни, глядя на него, какой-то несчастный в предсмертном, возможно, озарении? Интересно и важно было бы, конечно, разведать, что он там подумает, глядя умирающими глазами на жизнеродный совокупительный труд рядом со своим телом, улавливая отлетающим слухом не слабеющее мычанье своих последних товарищей, а хрип страсти, в приступе которой сильная жизнь перемешана поровну со сладкой смертью. Но этого не разведать, не узнать, а потому остается только расстелить здесь, в сухости и тепле, шинель, и лечь с женщиной, и глядеть, и запоминать, как будут приподымать головы на вялых шеях те, кому не повезло на войне.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.